

Влад. Королевич

МОЛИТВА ТЕЛУ



БИБЛИОТЕКА АВАНГАРДА

XXVI



Salamandra P.V.V.

**Владимир
КОРОЛЕВИЧ**

МОЛИТВА ТЕЛУ

Избранные
сочинения

Salamandra P.V.V.

Королевич (Королев) В. В.

Молитва телу: Избранные сочинения. Сост., подг. текста, биогр. очерк и комм. Н. Андерсон. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 250 с., илл. – (Библиотека авангарда, вып. XXVI).

В книге впервые собраны произведения Владимира (Влада) Королевича – поэта, прозаика, драматурга, примыкавшего к эгофутуристам, позднее имажинистам. Представлены оба поэтических сборника Королевича – «Смутное сердце» (1916) и «Сады дофина» (1918) и стихи из «Альманаха муз» (1918). В разделе прозы – скандальная эротическая повесть «Молитва телу» (1916), сперва изрезанная, а затем арестованная цензурой, и сборник рассказов «Студенты столицы» (1916): невротики, содержанки и искательницы «радостей тела», альфонсы и эфироманы – таковы его герои и героини, некогда наивные и чистые студенты из провинции. В книге также публикуется очерк «Ярмарка поэзии» о московских литературных кафе – Королевич, заметная фигура в кругах московской богемы 1910-х гг., знал о них не понаслышке. Издание дополнено биографическими материалами и подробными комментариями.

© Author, estate, 2017

© N. Anderson, состав, погд. текста, биогр. очерк., комм., 2017

© Salamandra P.V.V., оформление, 2017

**СМУГЛОЕ
СЕРДЦЕ**

(1916)



Смуглое сердце

Влад. Королевичъ.

— Сердце на нитке, сердце на нитке
— то по ошибке
Королева задела не тот шнурок

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Люблю город страстный,
Небоскребы и лучи электричества,
В нем гипноз властный
Гордо-пестрого Величества.

Электричество красивей солнца,
Оно мерцает луной и опалами.
Люди темнеют от солнца,
Становятся красными и вялыми.

В электричестве все — сказка,
Серебряны одежды и лица
Городской улицы пляска.
Его луной не могу упить.

Электричество дурманит туманом,
Как женщина столицы,
В его лике нежно-пьяном
Мерцают страстью лица.

В электричестве красива косметика!
Без косметики пресны лица,
В электричестве все — эстетика
Им нельзя до конца насладиться.

Февраль — 1916.

ТРАМВАЙНЫЕ ОСТАНОВКИ

Ал. Оленину.

Шумные трамвайные остановки,
Вы знаете мою радость и печаль,
Как часто жадный, робко-неловкий
Я ждал у трамвая — черный вуаль.

Ты приезжала на номере пять,
Издали дарила мне улыбку,
Как бы хотел я опять целовать,
Твой взгляд, волнующе-зыбкий.

У меня нет денег на автомобиль.
Мои свиданья всегда у трамваев,
В этом их прелесть, их радостный стиль!
Как остро я тебя вспоминаю.

Теперь у трамваев напрасно жду,
Среди лиц чужих ищу твою улыбку,
Ты с фатами пьешь кофе у Сиу,
Забыв про нашу ошибку.

Я жду у трамвайной остановки,
Пряча глаз моих хрупкую печаль.
Быть может завтра снова робко-неловкий
Я буду у трамваев ждать — белый вуаль.

1916 — Москва

ОТ ТЕТ'А

Мы были в ложе бенуара
Нежданова пела Джюльетту,
В шорохе заметил муара,
Что ваши бриллианты от Тет'а.

Хрустальные трели звенели,
Рука ваша лежала рядом,
Моих глаз засинели апрели,
Целуя вас — томную взглядом.

Шекспира-мечтателя сказка
В старой декорации сада
На вас была страстная маска, —
Не поняли нежности взгляда.

Вы вышли в преддверие ложи,
Целовали меня не как брата.
Как скучны объятья — все то же.
И снова мечта моя смята.

Вы были в любви так грубы,
Как грубы полные дамы,
Мои цепенеют губы,
Угасли любовные гаммы.

Мы снова в ложе бенуара,
Странно нежен голос Джюльетты.
Под черным чехлом из муара
Даже сердце... от Тет' а.

Апрель — 1916.

ПАЖ КОРОЛЕВЫ

Мы сидели над морем, в рубке бело-ажурной,
Аметистово небо пылало вдали,
И опаловый перстень казался пурпурным
На руке вашей томной, как отблеск зари.

Вы казались тогда саркофажной царицей,
Мне на грудь к вам хотелось — прижаться змеей
И безумием глаз Клеопатры упиться,
Но царицы не смел я коснуться рукой.

Ваши губы мерцали таинственно-пряно
Как гашишного счастья томящий мираж,
Изумрудного шарфа касался жеманно
Я — влюбленно-почтительный паж.

Вы исчезли в каюте, мне позволив небрежно
Прикоснуться к опалу, у самых дверей.
А под утро увидел паж, измученно-нежный
Из каюты царицы тихо крался лакей.

Октябрь —

ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ

На Арбатской площади сидит мраморная птица,
У птицы — печальный взгляд,
Идут бульварами пестреющие лица
В усмешке птичьей — яд.

Ночами, когда людьми обещено сердце,
Измятый мозг кричит,
Открываю души моей доверчивые дверцы
И птица ласково глядит.

Ей поверяю свое одинокое горе,
Птица — нелгуций друг
Идет людей наглежащее море
Мимо человеческих мук.

Кто-то нелепость сказал Это — Гоголев монумент,
Памятник, а не птица,
Наивности людей смеялся момент,
Чтоб потом, с птицей вдвоем забыться.

Мраморные памятники всегда истуканы,
Они не могут любить,
Перед черной тихой обнажаю все раны,
Птица скорби умеет лечить.

Март — 1916.

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР

Л. Тхоржевской.

На башне Страстного часы пробили — два,
Брожу один на белесом бульваре,
Спящий извозчик качается едва.
Кто-то шаги забыл на тротуаре.

Спина Пушкинского монумента
Похожа на статую командора,
Душит душу вязкая серая лента,
— Это моя вечеров разбита тора.

Никого не встретившая проститутка,
Одна по бульвару жадно маячит,
Кто это раздавил в моей душе незабудки?
О чем это я тихо плачу.

Разве можно разврату удивляться,
Тому, что такая, как все моя невеста?
Кажется над этим нужно нагло смеяться,
Нагло смеяться, и рыдать вместе.

Сине-румяная идет девица,
Почему у нее расстегнут ворот?
Может быть разврату нужно молиться?
Так требует Его Величество Город.

САМОЕДСКОЕ

Круглые чумы мелькали
Среди ярко-синих снегов,
Тюлени там умирали
От удара кривых багров.

Бережно лодки скользили
Мимо стеклянных льдин,
Криком смерти поили
Тюлени — тихость долин.

Все после охоты пили,
Глотали оленью кровь,
В глазах самоедки Билли
Стояла жадно любовь.

Упившись жаркой кровью
Смотрел на речку Мезень,
Поводя замороженной бровью
Я знал, что и я — олень!

Мне дико хотелось бегать
В просторе белесых тундр,
Город забыв, страсть изведать,
Зная — только олень мудр!

Февраль — 1916.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ АРЛЕКИНА

Натал. Поплавской.

Томно пляшет Коломбина,
Нежен осени каприз.
Вьются ленты серпантина,
С нею — пудренный маркиз.

Как маркиза губы пряны!
Звонки струны мандолин.
У душистого фонтана
Замечтался арлекин.

Как вино глаза нескромны,
Губ краснее нет его.
Перед ним с усмешкой томной
Вдруг затихнувший Пьеро.

Боги строят злые мины,
Их нарушили закон.
Позабыв про Коломбину
Арлекин в Пьеро влюблен.

Ноябрь — 1916

ЗЕЛЕНАЯ ТАТУИРОВКА

Натал. Поплавской.

У него на груди татуировка,
Зеленая змея с глазами медузы.
Я глажу его кудри ласково и неловко
Он говорил — У тебя руки Дузе.

О, если б никогда не отрывать взгляда
От прикрытых серых глаз,
Если б навсегда в себя спрятать,
Как в шкатулку черный алмаз.

Но завтра он снова уйдет в море,
Бродить среди рифов и скал,
Встречать с другими другие зори.
Как мир без него станет душен и мал!

У него на груди татуировка,
А над постелью маленький висит кинжал
Что если в змею вонзить ласково и неловко,
Чтоб никогда никому не принадлежал.

Апрель — 1916

ДЕВУШКА В МОДНОМ

Нине Серпинской.

На Вас было модное платье,
Короткое, как у балерин.
В больших глазах — мечта о Распятии
А на губах — кармин.

Вы говорили о глаз обводах,
О точке, с которой нельзя встать
Я кротко думал о церкви сводах,
Хотел Вас нежно за руку взять.

Хотел Вас тихо, тихо слушать,
И увести в католический храм,
Костела тишину боясь нарушить
Молиться Богу и облакам.

Молиться долго-долго вместе
Не зная Вы или я грешней,
Потом сказать Вам — чужой невесте,
— Вы не гривуазка, а Сольвейг.

Апрель — 1916.

БЫТЬ АББАТОМ

Анне Мар.

Под томящую нежность органа,
Быть изысканно-страстным аббатом,
Носить черную томно сутану,
И молиться печально и свято.

За душистой стеной конфесьнала
Слушать тайные девичьи муки
И губам позволять скорбно-алым
Целовать мои бледные руки.

И служить тихо-страстные мессы,
Думать нежно «Ave» по четкам,
В каждой даме будить поэтессу,
Оставаясь печальным и кротким.

А ночами молиться в экстазе,
Пред иконой Его — Себастьяна
И забыв о мучительной грязи,
Целовать чьи-то нежные раны.

Июнь — 1916

ВОСПОМИНАНИЕ

Как часто счастье кажется болью,
Еще чаще боль счастьем бывает.
Этой жизни недоволен я ролью,
Кем быть хотел бы — не знаю.

Мое сердце бьется так мерно
Под стук его я засыпаю,
Быть может в тоске безмерной
Где-то кто-то меня ожидает.

Почему я помню рот Савонаролы
Помню его и знаю.
За то что то был слишком веселый
Теперь много и тихо страдаю.

Почему в томно-нежном костеле
Что-то бывшее я вспоминаю,
Тихо плача от скорби и боли,
Я не знаю... не знаю...

Октябрь — 1916.

ТОТ АКТЕР

В. В. М.

Он был жеманно-прекрасным,
Он был знаменитый актер.
Мне казался ненужно-напрасным
Его призывающий взор.

И когда кривлялся он в кино,
И когда подавали венки,
Проходил я бледный мимо
С презреньем тихой тоски.

А однажды вечером встретил,
Лицо было в пудре, печален взгляд,
Я глазами ему ответил
Мне сердце свое не вернуть назад.

Октябрь — 1916.

СЕРДЦЕ НА НИТКЕ

В танце четном я — марьонетка,
Я — марьонетка в хрупких руках,
Радости гонг, скорбь-вуалетка,
У марьонетки все — на шнурках.

Шнурок направо — готова улыбка,
Готова улыбка на ярких губах,
Шнурок налево — и грусти зыбкой
И грусти зыбкой — печать в глазах.

Шнурок направо, шнурок налево
Королеве забава — шалить в шнурках.
Ведь это счастье смешить королеву,
Быть марьонеткой в хрупких руках!

Королеве странно — почему на нитке
Вместо улыбки — в крови лоскуток.
Сердце на нитке, сердце на нитке. То по ошибке
Королева задела не тот шнурок.

Декабрь — 1916.

ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА

Уже час стою у телефона
И жду его звонка,
Любовь не бывает беззаконной
И напрасна о том тоска.

Звонят нелепые люди,
Говорят смешные пустяки,
О, как они меня осудят,
Узнав, что мы — близки.

Измученно сердце бьется,
Мечта моя тихо-горька
Если б знать для кого он сейчас смеется,
Забыв, что я жду его звонка.

Ноябрь — 1916.

ДУША РЫБАКА

Н. Завадской.

Вы были когда-то рыбаком в Бретани,
Оттого ваши глаза светлы, как море,
Любили средь долгих скитаний
Встречать розоватые зори.

Влюблялись в девушек нежных душой
Их смуглыми обнимали руками,
Целовались под красной бузиной.
Это было в счастливой Бретани.

Свое прошлое души вспоминают весной.
Как вы в город попали не знаете сами.
Где же девушки под красной бузиной?
Где море, где ветер Бретани?!

Июль — 1916.



**САДЫ
ДОФИНА**

(1918)

ВЛАД. КОРОЛЕВИЧЪ.

САДЫ ДОФИНА

МОСКВА.
1918.

I

САДЫ ДОФИНА

Дмитрию Павловичу.

В те дни мы отдавали жизнь любви одной...

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Я — только грум. В тени боскета,
В аллеях радостного лета,
Носил за Вами я флакон.
Я помню ясно нежный сон
И Вас — в мечтаньи менуэта.

На Ваш вопрос в лучах рассвета
— Жано, ты кажется влюблен?!..
Шепнул, любовьию сражен:
— Я только грум.

Теперь — не то:
Вы — без лорнета,
И па забыты менуэта.
Но Вам шепчу я, помня сон,
Мечтой тревожною смущен,
И верный таинству обета:
— Я только грум!..

ВСТРЕЧА С МАРКИЗОМ

Век золотой погас давно во власти Леты, —
Лазурных облаков мне вспомнился наряд,
Амуры томные французского балета,
Душистой амбры сладостный и пряный яд
И синяя, в серебряных гербах, карета,
Маркиза пробужденье, — столь любимый миг,
И профиль Ваш в мечтаньи менуэта,
Румяна уст, и пудрою осыпанный парик.
У Ваших рук влюбленный без ответа,
Молясь Любви и Вам, склонялся бледный грум
Ах, он не смел сказать трагичного секрета,
Карминных роз не смел послать герою дум.

.

Сезонных почестей шумливая ракета,
И тусклый век свои объятия простер
Маркиза вся толпа зовет теперь «Актер»
Один Ваш грум, — он званье получил поэта, —
Веков забытый вспомнив сон,
У Ваших рук опять, — печален и влюблен.

КАМЗОЛ МАРКИЗА

Как томно завязаны банты
И жемчуг подвязок тяжел,
К свиданью с проезжей инфантой
Маркизу готовлю камзол.

Во мраке вечерней аллеи,
Маркиз и инфанта пойдут,
Рука с фонарем холодеет,
Как длинен, как длинен их путь.

К беседке пришли золоченой
«Жано, ты обратно иди».
Я слышу их шепот влюбленный,
Но сердца не слышу в груди.

Один... Озаренный луною
Сдержать не сумею свой стон.
«Маркиз, чей-то крик за стеною?..»
«О, нет, то разбился флакон».

...Ласкаю лиловые банты,
Рукой по атласу провел...
К свиданью с проезжей инфантой
Маркизу готовлю камзол.

ТРИОЛЕТЫ ЖАНО

I.

О, нет, любезная Жанета,
Не Вас любить мне суждено
И не для Вас стихи сонета...
О, нет, любезная Жанета,
Любви восторженной расцвета —
Не знать печальному Жано.
О, нет, любезная Жанета,
Не Вас любить мне суждено.

II.

Ах, мне не скрыть любви секрета,
Его прочтут в улыбке глаз,
В них первая горит примета,
Ах, мне не скрыть любви секрета,
Твержу с заката до рассвета
Все то же имя тысячу раз.
Ах, мне не скрыть любви секрета
Его прочтут в улыбке глаз.

СМЕРТЬ МАРКИЗА

Ваш смуглый грум стоял один, в толпе забытый,
Когда всходили Вы, маркиз, на эшафот,
Спокойною улыбкой приоткрытый,
Был алым, как всегда, подкрашен томный рот.
В серебряный лорнет Вы оглянули смело
Толпу, простертую у Ваших ног,
Презрение в прищуренных глазах горело...
Час казни возвестил солдатский рог!
Ждала толпа людей Прованса и Оверни,
Нож палача был поднят и готов,
Вы кинули слова: «Проклятье черни».
И вздрогнули они от двух холодных слов.
На Вас толпа трусливая смотрела,
Раздался резко гильотины стук,
И банда жадная, наглея, опьянела —
Казненного скверня касаньем рук.

.

А позже —лишь прошел туман вечерний
И лунный загорелся в небе сердолик,
Безумный грум шептал: «Проклятье черни!..»
Он голову нашел и... пудрил Ваш парик.

ГОРЯЩИЙ ПАРК

Tes jardins composés où
Louis ne vient plus...

Albert Samain.

Листья тихи, и тихи аллеи,
К ним ползет в смутной страсти костер.
Старый парк от огня пламенеет,
Тлеет тихо газона ковер.

Дым костров, раскаленный и едкий
Обнимает молчанье аллей...
«Я горю!» — тихо шепчет беседка, —
«Но на мне вензеля королей!»

В нишах мраморных смотрят дельфины,
Боль грядущего знает их взгляд,
В парке том, где любили дофины,
Наглый крик опьяневших солдат.

ДВОРЦЫ, ПРИГОВОРЕННЫЕ К КАЗНИ

Все небо в ржавчине. Закат спустился медный...
Я мимо прохожу оставленных дворцов,
Фатой ползет туман, задумчивый и бледный,
Лик поздней осени печален и свинцов.
В бассейны смотрится, с тоскою неизведной,
Полет медлительный сожженных облаков,
И стоптан поступью, тяжелой и победной
Узорчатый газон усталых цветников.

В аллеях брошенных: забытые фонтаны,
Струится в них вода, — так каплет кровь из раны; —
И листья рыжие тоскуют и дрожат.

Но знавшие века, ждут строго часа казни
Их гордые сердца не ведают боязни, —
Дворцы и лилии пред смертью молчат.

ПОРТРЕТЫ

Отзвучали шаги уходящих солдат
По пустынным оставленным залам
И в осколках зеркальных устало
Отдается далекий набат.

Тихо в окна вползает тоска,
По квадратам крадется паркета,
Шепчут лунному свету портреты:
«Умираем, а жили века».

Обнаженные, в ранах, без рам,
С сердцем, сжатым предчувствием новым,
К смерти жуткой спокойно готовы
Лица рыцарей гордых и дам.

Те, кто знал радость бывших времен
У людей не попросят пощады,
И жестоки их строгие взляды,
Дней грядущих предчувствуя стон.

II

СВЯЩЕННАЯ ВЕСНА

Законов древних сломана преграда,
Любви греховой вспыхнула лампада —
Ее зажгла священная весна...

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ

Молитвенник держу в руке,
Сафьянный с золотым крестом,
Мерцают свечи вдалеке:
— А что потом, а что потом?!

Свеч шепот слышу — мне смешно,
Не все ль равно мне — Что потом?
Кто слово изобрел «Грешно»,
И книгу с золотым крестом?!

Все выдумки — любви канон,
И поклонение крестам,
Единый знаю я закон
— Говенье пламенным устам.

ТРОЕ

Их было трое у креста...
Но помню я лишь Иоанна.
Багряность губ его чиста,
Их было трое у креста...
Горели пламенно уста,
Касаясь края темной раны,
Их было трое у креста...
Но помню я лишь Иоанна.

ПОЗАБЫТЫЙ ПРОХОЖИЙ

Я один. Одиноки руины...
Я молчу позабытый прохожий,
Возлюбивший тоску Магдалины.
Я один. Одиноки руины...
Плач, затихший в смиреньи долины,
У крестов молчаливых подножий
Я один. Одиноки руины.
Я молчу позабытый прохожий.

ЭКРАН У КАМИНА

Рисую хрупкий профиль Дориана,
Темнеет он на четкости листа,
В усталости пройденного обмана
Душа моя доверчиво проста.

Но томностью прозрачного экрана
Воскресла вновь потухшая мечта,
Томящий призрак вешнего тумана
Сжигает кровью бледные уста.

Камина уголь гаснет утомленный,
Стих город, властно монотонный,
Но, Вы, со мной и я не знаю сна!

Законов древних сломана преграда,
Любви греховной вспыхнула лампада —
Ее зажгла священная весна.

УТРО

Приходит он седьмое утро,
Любви греховой алый бриз,
И с ним томительный Дафнис,
Чья грудь бледнее перламутра.

Сплетенье рук, движение томно.
Кудрей пьянящий виноград,
Исчезло таинство преград,
Смеется юноша нескромно.

Любви слепой мгновенья кратки
И мигом кажется нам год,
Как сладостен незрелый плод,
Как непорочных ласки сладки.

...Проснусь... И что же? Вижу снова
Сафьянный переплет с крестом
Склонюсь, зардевшись, над листом
Иоанново читая слово.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПОЖАР

Сегодня Ваш портрет печален,
Печалью тихих серых глаз,
Я в тишине исповедален —
Сегодня расскажу о Вас.

В мечте высокого костела
Меня прослушает аббат,
Он скажет о грехе тяжелом,
Перебирая четок ряд.

Во мраке строгого портала,
Когда кадильниц звон затих,
Я прикоснусь к руке усталой,
Забыв про Вас на этот миг.

А дома Ваш портрет овальный,
Увижу снова на столе,
И вспыхнет вновь пожар печальный
Любви, греховной — на земле.

ОЖИДАНИЕ

Ожиданья томительный час,
Свет вечерний устало погас,
Сердца стук зачарованно точен.

Побледнел потухающий газ,
В тишине еще вспыхнет он раз
И на час, миг любви укорочен.

Видеть звезд позабытый алмаз,
Слышать томность придуманных фраз
Мир любви так печально непрочен.

Блеск томящий целованных глаз...
О, как больно, что встретил я Вас
Не в те дни, когда был непорочен.

РАЗЛУКА

I.

Кажутся томной игрой
Мессы молитвенной звуки,
В ласке наивно-простой,
В ласке забытые руки.

Нежен грядущий покой —
Плата за бывшие муки,
Вы уходящий, Вы — мой,
Поняли сладость разлуки.

Оба идем на печаль,
Сердца прибои и стуки
Ткут подвенечный вуаль —
Острую нежность разлуки.

II.

Я знаю — должен я уйти,
На путь Ваш став невольно,
И Вы не скажете — Прости,
Вы — ранивший так больно.

Но, уходя скажу: — всегда,
Всегда я буду с Вами,
Гораздо больше, чем тогда,
Когда сплелись руками.

Я в беспредельности брожу,
Полночный путь не зная,
И к встречаю новым ухожу,
За боль благословляя.

МОЙ

Кто, о, кто проехал мимо?
Он — далекий и любимый,
Он — усталый и чужой,
Мой?

Буря, осень, листья мчатся,
Чьи-то призраки стучатся,
Шелест темных, строгих книг,
Миг.

Чьи-то мертвые ресницы,
Буду им в тоске молиться,
И у мертвых чью-то страсть
Красть.

Мертвый профиль за решеткой,
Он — чужой с улыбкой кроткой,
Мертвый он, но он со мной,
Мой!

ПРОМЕЛЬКНУВШИИ ПРОФИЛЬ

О, только профиль, промелькнувший мимо
И темный воротник пальто.
Кругом шипящие авто,
И лица в мертвых пятнах грима.
Они идут в томящем ожидании,
В покрове бледного порока риз,
И он — напудренный Дафнис
В них будит лишь усталое желанье.
О, в улицы подкрашенном обмане
И этот кончится рассказ,
Морщинка первая у глаз,
Печаль о постаревшем Дориане
Лишь в сердце смуглом пилигрима,
Где вечно отражается Нарцисс,
Останется напудренный Дафнис,
И профиль бледный, промелькнувший мимо.

ГАЗЕЛЛА

Час настанет — в рдьяность сада я приду,
Отрок ждет в тени ограды. Я приду.
На плечах сомкну я властно рук кольцо.
Бархат неба, звон цикады — я приду.
Губ я выпью красной чашей дикий мед.
Ждет меня любви награда — я приду.
Ласки первые робея, он отдаст,
С гроздьё алой винограда я приду.
С ног упавшие запястья зазвонят,
В гроте томная прохлада... Я приду.

МЕЧТЫ О СТЕКЕ

В тиши далекой опрошенья
Загар мой смугл и взгляд мой прост,
Но, потушив души сомненья,
Кузнецкий вспоминаю мост.
Я вспоминаю эти пары,
Спокойные прогулки с ним,
Духов томящие угары,
Искусный и усталый грим.
И вас, напудренные франты,
И вас, шумящие кафе,
Колец искусственных брильянты,
Гусара в красном галифе.
Мечтаю я в волне загара,
В естественной прохладе рек,
Как у витрины Дациаро,
Прижму к губам все тот же стек.

ТРОИЦЫ ПРАЗДНИК

Троицы праздник. Березки зеленые,
Стуки, оживших весною сердец,
Руки, без круглых венчальных колец,
Сети улыбок, весною сплетенные.

Белая церковь, кадильницы сонные,
Милый — в Георгии — чудится лик,
И воскрешает восторженный миг,
Сердце, покорно и тихо влюбленное.

Лишь для него эти свечи возженные,
Отроков нежных пылающий хор,
И сквозь ресницы сверкающий взор,
Троицы праздник, березки зеленые.

ОЗЕРО

С водою синей чаша без цветов...
Склонившись к ней, искал изображенья
Своих минувших дней, желаний, снов,
Встреч пройденных забытое значенье.
Вглядевшись в зеркало, они узнали
И их глаза подернулись вуалью,
— О, мы не те! шепнули мне с печалью,
Но с чашей расставаясь, зарыдали.

В своем пути, тоскою полным,
Я шел один, в тени видений,
В венце весенних песнопений,
Оно пришло, как в бурю волны.
Уст жгучее приняв причастье,
Сорвал с пришедшего корону,
И сердце жадное, без стоны,
Я вырвал, бросив в пламя счастья.

Ну что ж, мечты, идите к чаше,
И к зеркалу скорей склонитесь,
— Опять, опять лицо не ваше?
О, листьев вам мешает глянец
И облаков тревожный танец?!
И, в страхе дружно вы теснитесь.
Рыданий нет. Мечта мечте,
Как прежде шепчет: — Мы не те.

ПЕРЕД СТЕНОЙ

Я иду по зеленому влажному полю,
Вешний клевер целует мои обнаженные ноги,
Монастырь, где томят твою нежную волю,
Так далек от проезжей, людьми проторенной, дороги.
Я иду, но высокие белые стены
Окружают кольцом, недоступную грешным, обитель,
Строг привратник седой, он не знает измены,
Почерневший от лет, вечных стен неустанный
блудитель.

Утром колокол слышу... Призывает к обедне.
Знает сердце, прошедшего путь, пилигрима: —
— Со свечою идешь ты за всеми, последней,
Близко к белой стене... Но она и теперь нерушима!
Жду давно я... Сменяется осень весною,
И греховным огнем мое сердце пылает устало
Иногда слышу поступь твою за стеною,
Шелест легкий... твоего... с головы... покрывала.

ТЕБЕ

Как некогда любви огонь сжигал уста Верлена
В душе моей горит греховная заря,
Я в тот же путь иду, где ждет меня измена,
Под черным парусом в бездетные моря.

Не в силах оборвать пленительного плена,
Бросаю четки мертвых зерен янтаря, —
Костела своды кажутся мне властью тлена,
Мадонны нежной нет в мерцаньи алтаря.

О пусть проходят дни печально и мгновенно,
Пусть гибнет все, что бледно и что бrenно,
Преображаюсь я, страдая и любя.

И в книге вечности, где вписана Лаура,
Где гибнущий Верлен в тоске воспел Артура,
Своим грехом великий, я создам тебя.

ОБОРВАННОЕ

О СЕРДЦЕ

Сердце твоё — хрупкий жертвенник, где вечно горит белое пламя, сердце твоё — голова Предтечи, ждущая уст Саломеи. Сердце твоё — солнечный луч, закованный в голубую льдинку. Сердце твоё — давно забытое орудие пытки. Сердце твоё — нездешняя птица с белыми крыльями.

Все это было сказано тобой мне. Я ответил тихо:

— Мое сердце — только маленькое озеро, где вечно отражается твой образ.

О ДУШЕ

Люди с большого вокзала, — каждый город мне кажется только вокзалом, — назвали меня распутным, заметив пудру на моем лице и кармин на губах.

Люди с улицы, где продают ветки измученной сирени, назвали меня порочным, увидев, что я отдаю свои губы, не любя.

И все они, обнажив мою грудь и заметив на ней медальон из старого золота, а в нем темно-русый локон, назвали меня — сентиментальным.

Никто не понял, что этот медальон — моя душа.

О РАЗЛУКЕ

Уходя, ты бросал жалкие оскорбления, но на твоих опошленных губах еще звенела улыбка.

Ты ушел навсегда. И остался от тебя только маленький трепещущий лоскуток в моей руке. Трепетал и затих, похолодев.

Когда я открыл ладонь, — я увидел твое мертвое сердце.

ОБ АРЛЕКИНЕ

Когда занавес поднялся он вышел на поклон.
Напудренный актер, игравший арлекина.
«Какой он веселый», сказал кто-то.
Но никто не догадался, что это мертвец, сердце
которого я ношу вместо медальона.

О БОГЕ

Когда я приду к Богу, Он, глядя в мою душу, скажет:
— Зачем столько ненависти. Зачем запятнал стольких.
Я отвечу Богу:
— Господи, к каждому я подходил с верой. Каждому я
хотел дать свою душу. Никто не умел ее взять, Господи.
Бог погладит меня по голове и скажет:
— Дай мне твою душу, я ее приласкаю.

Стихотворения

из

«АЛЬМАНАХА МУЗ»

(1918)



Альманахъ Музъ

Книга 1-я

Пѣсни Любви

К. Д. БАЛЬМОНТЪ, ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ, А. ПЕТРОВСКІЙ, ЛЮБОВЬ СТОЛИЦА,
ВЛАД. КОРОЛЕВИЧЪ, АЛ. СТРУВЕ, ВАДИМЪ ШЕРШЕНЕВИЧЪ, КАНИГОСЪ РЕСНЕЙ,
НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧЪ, АНАТОЛІЙ ДОБРОХОТОВЪ, СЕРГѢЙ СПАССКІЙ.

ИЗДАНІЕ

Т-ва Н. В. Васильева, Москва

1918



СВЕЖЕЕ СЕРДЦЕ

Трепещет у ног кровавый лоскут,
Что это?! Революционное знамя?!
Нет, мое смуглое сердце.
Вы вонзили копьё, и вертите в сердце,
Как мусорщик палкою в яме.
Сердце?! А может быть лгу я опять?
Теперь не бывает сердец,
А то его положили бы в стеклянную банку,
Поставив в окно продовольственной лавки,
И очередь встала бы: «Получено свежее мясо».
Сердце?! Вы открыли его.
Маленький красный цветок оторвали от стебля.
Что ж! наденьте на палку,
Махайте,
Кричите, как мальчик-газетчик:
«Сердце. Экстренный выпуск. Свежее сердце!»
А я отойду к стороне. Опустошенный футляр.
И буду смеяться.



ВОИСТИНУ

Первый, слабенький стон
Со звонарни высокой упал
И падали, падали звоны,
Большие, средние, малые.
Из колокольной беленькой клетки
Вырывались бились стоны,
Старые старушки, бледненькие дети
Земные клали поклоны.
А в алтаре была плащаница,
Белее белой скатерти,
Но никто не умел молиться,
Ни здесь, ни на паперти.
В кивотах жили святители,
Смуглее земли их лики,
Перед иконой самого Спасителя
Склонялся я в страхе великом.
В таких же ранах, такое же белое
Другое, другое мнилось.
Смотрите, смотрите, люди, как телу
Воистину надо молиться.



**МОЛИТВА
ТЕЛУ**

(1916)

В. КОРОЛЕВИЧЪ.

МОЛИТВА ТЪЛУ.



К-ВО „ЕДИНОРОГЪ“.

В. В. МАКСИМОВУ

ГЛАВЫ: IV, VII, X, XI, XVIII, XXI

РЕШАЮСЬ ПОСВЯТИТЬ

Глава XXV по условиям цензуры выпущена.

— Иначе, как-то иначе нужно жить... — почти сказал Вадим, разрывая замшу в клочки.

(Часть II, Глава IX)

I.

Курзал был полон. Только два пустых места и те кому-то оставлены. Через стеклянные крышу и стены рвалось солнце, охлажденное белыми маркизами. Сбоку в ротонде бойко и бесшабашно звенел гавотом казачий оркестр. А широкая каменная лестница спускалась прямо к озеру, зеленоватому и спокойному в душный безветренный день.

Вадим Крамов вошел на стеклянную веранду под руку с достойной и мягкой старушкой — своей матерью. Все были заняты едой или флиртом. Почему-то головы начали подниматься от тарелок, разговор перешел в шептанье. Вадим и его мать шли к двум оставленным стульям. Длинные отлогие ресницы юноши были опущены. Брюнетка с очень большим бюстом и толстыми губами, повязанная красным платком с ушками «под Кармен», сказала почти громко, желая быть услышанной:

— Какая красота!

И шепот потек по веранде.

Вадим не мог не слышать, он внимательнее прижал руку матери и откинул темно-золотые ресницы. Длинные глаза — два светлых изумруда — озарили лицо, озарили всю веранду. Самая смелая из дам — брюнетка в платке, — не отвела от него глаз, а остальные женщины только бросали украдкой пока осторожные взгляды. Когда Вадим сел и снял белую широкую шляпу — из-под нее вырвались, как два крыла, бронзовые волосы, — брюнетка уже без рисовки прошептала, совершенно потрясенная:

— Дориан Грей.

Может быть, Вадим не был похож на Дориана, но он был тонок, как семнадцатилетний, профиль его нервен, а воло-

сы странно бронзовы. Навсегда в памяти оставались только губы Вадима. Крупный рот его был темно-розовый с полными губами, причудливо-извилисто вырезанными. Когда губы его были строго сжаты — вспоминался мудрый и страстный рот Соломона, когда приоткрывались они — это был рот наивного развращенного ребенка, когда распускались в улыбке — рот казался широким и сладострастным, он казался ртом танцующей Саломеи.

Вместе с губами менялось все лицо Вадима и никто не знал, когда Вадим — Вадим, когда он сладострастный спокойный греческий бог, когда он дерзкий гамен с парижского бульвара, или когда его лицо застилается туманом тонкого сладострастия, как у опекурильщика.

Вадим поднимал длинные глаза, два зеленые солнца вспыхивали из-под лучей ресниц и каждый раз брюнетка была готова вскрикнуть, но он, не желая замечать всеобщего внимания и недовольных мужских усмешек, спокойно угощал мать. Мать, милая голубоглазая старушка, враждебно оглядывала жадные женские взгляды и беспокоилась.

Все долго не расходились из-за табльдота, видимо взволнованные. В жизни небольшого курорта произошло большое событие. Первыми ушли Вадим с матерью, опять одиноко и спокойно прошедшие сквозь строй женских взглядов.

— Ну, времена, — сердито ворчала Вадимова мама.

Он только улыбнулся устало и печально:

— Тебе показалось, мамочка.

А в курзале, как в роевне, жужжали.

— Дориан, Дориан, — горячилась брюнетка в платке — Дора Марковна.

— Совсем Аполлон, — шептала восторженно фрейлейн Туснельда.

— Аполлон с картинки Каульбаха.

— Просто столичный кривляка, — сочно проговорила докторша Волкова и незаметно навела взгляд на свою дочь Лелю.

Та слушала спокойно и, казалось, легкая улыбка была на ее губах. Докторша знала эту постоянную отсутствующую улыбку.

— Слава Богу, «Дориан» не произвел впечатления, — подумала докторша и с презрением начала разглядывать волнующихся дам.

II.

Дора Марковна решила познакомиться во что бы то ни стало. Она, несмотря на жару и свою тучность, забыв о загаре, ходила с дачи на дачу, желая узнать, не знаком ли кто с «ним». В конторе ей могли сообщить только фамилию.

«Его» никто не знал, даже главный доктор Волков.

— Да почему вы, голубчик Дора Марковна, им интересуетесь? — спросил он, глядя добродушно в ее глаза. — Кто он такой?

— Он? Он... Дориан Грей.

— Чего?..

— Дориан Грей. Неужели вы не знаете, кто был Дориан Грей?

— Откуда мне знать?

— Ну и прощайте. И как это людям не стыдно так опускаться, ничего не читать. Вы интеллигентный человек или нет, Платон Александрович? А, да что тут говорить, — и она, махнув руками, пошла в следующую дачу.

А доктор, усмехнувшись, сел за стол и отпил кваса из кружки.

— Расходилась барынька...

На террасу вышла Леля в белой матроске и, подойдя к отцу, погладила его по лысой, в пушке, голове.

— Ты, — Аленушка?

— Устал, папа, на приеме?

— Чего там. Только это бабье надоедает. Ни одна не больна, — а непременно им выдумай болезнь и лекарство соответствующее. Вот сейчас эта полоумная Блюмкопф при-

бегала, приставала с каким-то Дорианом и меня же изругала.

Леля провела рукой по мокрой чесучовой спине пиджака.

— Кто этот Дориан, Аленушка?

Леля тихо улыбнулась.

— Сегодня приехал какой-то господин в белых брюках.

— Блюмкопфша уже готова?

— Кажется... Он очень красивый.

— Смотри у меня, Аленка, — с опаской поглядел доктор.

— Я?... Нет... У него полированные ногти.

— Чего?

— Полированные ногти, — значит, душу отполировать у него времени не остается.

Она пошла, накинув белый шарф на плечи.

— Ты куда?

— К озеру, папа, только подальше. Ты знаешь, на от-мели много мартинов и они не боятся меня.

— Мартинов я больше люблю, чем чаек, те очень беспокойные.

— Чайки? — повторил отец, когда она ушла. — Чайки!.. нехороший возраст у Аленки...

И снова отпил квас, уже потеплевший.

III.

Дора бродила с пяти часов под жарким припеком по бульварчику перед дачей № 37, где жил Вадим. Лицо ее совсем сгорело от непривычного солнца, а она ходила, садилась, снова вставала. После восьми Вадим вышел такой же спокойный, как днем. Дора Марковна вскочила со скамейки ему навстречу. Вадим так спокойно и незнакомо на нее посмотрел, что она не решилась сказать ни одного из припасенных эпитетов. Он прошел мимо и Дора Марковна, задыхаясь от корсета и духоты, пошла за ним.

На теннисе состязалась мадмуазель Брусова, первая аристократка и теннисистка курорта. Костюм у нее был почти балетный, с короткой юбкой, руки и шея сильно обнажены, а голова в фантастической белой повязке. Сухоощая и не юная, с крупными плоскими ногами, она хотела быть аристократичной в своих позах. Ее партнер — гимназист в желтой рубашке — бил мячи изо всей силы и ракетка слегка свистела.

Вадим следил с увлечением за ракетами и глаза его не отрывались от красных и белых мячей. Скоро сет кончился и Вадим подошел к сетке; обратившись к Брусовой, сказал немного гортанным молодым голосом:

— Вы отлично играете, сударыня. Разрешите вам предложить сингль.

Девица в белом с достоинством повела плечом и протянула руку, смотря смелым мужским взглядом:

— Может быть, познакомимся прежде?.. Я — Брусова.

— Вадим Крамов, — слегка покраснев от своей нетактичности, сказал Вадим.

Как-то само собой стушевался желтый гимназист и откуда-то появилась ракетка в Вадимовой руке.

Вадим старался принимать эстетичные позы, манерничал и первый гол выиграла мадмуазель Брусова.

Число дам вокруг увеличивалось.

— По-бабьи играет, — сказал гимназист в желтой рубашке.

Вадим закусил губу, его глаза потемнели и со злостью он бросился к мячу. Не рассчитав движения, покачнувшись и почти упав. Кто-то захохотал. Глаза Вадима стали темно-зелеными, почти черными, он бросил прочь белую шляпу. Ринулся за мячом, отшиб боком ракетки и, забыв о позах, об эстетике, окрыленный удачным ударом, бегал гибко и ловко. Солнце, совсем ушедшее, розоватыми опалами пробежало по его тонкой фигуре. Вадим порозовел, глаза его светились жизнью, радостью горело все тело, за минуту еще мертвое. Локоны цвета бронзы разметались, спутав пробор, и, как эллинский мальчик, свободно носился он, носился среди красных и белых мячей и улыбка настоящей детской

радости сменила обычную маскирующую полуулыбку.

Дора Марковна не уставала впиваться в фигуру юноши, а короткая рука ее в кольцах с экстазом, украдкой, гладила его жакет, лежащий рядом.

Около ротонды, где старался казачий оркестр, сидел только старичок с подагрой и доктор Волков, все остальные толпой жадно глядели на теннисную площадку — с любопытством, с ненавистью, с восторгом.

Когда Вадим кончил сет, он по-детски выкрикнул:

— Мой!

И вдруг зазорная мальчишеская улыбка сбежала, сиявшие радостью глаза прикрылись томными ресницами и, снова недостижимый, он подошел к скамье.

— Вот... Ваше... — лепетала Дора Марковна, протягивая ему жакет.

Он не взглянул, взял и, издали поклонившись Брусовой, пошел своей вздрагивающей походкой.

— До завтра, — крикнула вслед всегда сдержанная Брусова, поправила кокетливо желтоватый локон над увядающим лицом и едва сдерживала непрощенные улыбки.

— Он играет с вдохновением, — сказала она прапорщичку.

IV.

Вадим шел в купальню дальней аллеей; все-таки на скамье сумерничала какая-то компания.

Когда Вадим прошел мимо них — сзади раздались смешки и мальчишеский голос сказал:

— Я вам покажу, как он ходит.

Вадим хотел кинуть что-то злое, но только оглянулся и взглянул в упор на передразнивающего его гимназиста в желтой рубашке. Тот сначала нагло вскинул голову, но сразу присмирел и, растерявшись, отступил.

Вечер был прозрачный. На очень темном небе месяц круглый и светлый блестел вовсю. И звездами было усеяно

небо, как золотыми гвоздями.

Вадим медленно раздевался. Было немного жутко одному в огромной сырой купальне. Где-то далеко оркестр играл попури из «Травиаты». Слегка пожимая плечами от холода, бережно ставя ступни на сырой пол, Вадим вышел нагой за купальню. И прямо в глаза ему бросил свой свет месяц, отчего глаза стали бледными лунными камнями, а когда Вадим взглянул в воду, он отшатнулся. — Освещенный луной, колебался в темном зеркале фантастический образ. Томный и белый, как цветок нарцисса, нагой юноша отражался в зеркале.

Вадим, забыв, что это он сам, залюбовался стройным телом, тонким, как статуя Кановы, и глазами, ослепленными луной, и разбросанными крыльями локонов. Капризный и прекрасный, звал к себе юноша и тело его было полно любовной тоски,

Вадим не мог оторвать взгляда от зачарованного юноши, который жил в зеркале озера, и стал перед ним на колени, наклонился совсем к воде, пока близко не блеснули ослепительные глаза; он прижался в восторге ярко-розовым ртом к бледным губам лунного призрака и очнулся — соленая вода проникла в рот.

Тогда он ринулся в озеро и лег на тихую воду, плотную от соли. Не нужно было усилий, чтоб лежать на поверхности и он лежал, почти не двигая руками, и луна отражалась в его зеленых глазах.

V.

Вадим поднялся по каменной лестнице и шел по темному парку. Освеженное тело радовалось прохладе, впитывая ее в себя, радовалось луне, радовалось синему небу.

Он забыл себя и жадно дышали яркие губы, приоткрывшись, и глаза жадно глядели вперед, точно хотели все в себя взять, и деревья, и звезды...

— Простите, — сказал кто-то около плеча и Вадим, слегка вздрогнув, сразу подтянулся, глаза прикрылись и снова он был тем же холодным денди.

— Простите, — повторил голос. — Мне очень хочется с вами поговорить...

Перед Вадимом стоял мальчик лет четырнадцати с круглыми молочными глазами, такими, как бывают молочные у щенят.

— Я очень рад. Давайте говорить, — пожал руку Вадим.

— Вы так замечательно играете.

— Да, я люблю теннис. Это символ жизни. Нужно, милый мальчик, и в жизни уметь бросать мячи и отбивать их ракеткой. Нужно и с женщинами играть, как с мячами.

— Вы, наверное, знали очень много женщин? — восторженно спросил мальчик. — Мне бы так хотелось.

— Вам сколько лет?

— Совсем скоро — пятнадцать.

По лицу Вадима пробежала легкая насмешка.

— Я не знаю, как вас зовут? Скажите, пожалуйста.

— Вадим Николаич.

— Вадим Николаич, а меня Тадик, то есть мое настоящее имя — Тадеуш, но меня всегда все зовут — Тадик. И вы будете?

— Хорошо.

— Знаете, Вадим Николаич, в вас все дамы влюблены. Правда. Особенно Дора Марковна, но и другие. Я бы хотел быть, как вы, только это невозможно.

— Разве в вас никогда не влюблялись, Тадик?

— Нет... бывало... конечно, — сморщил верхнюю губу Тадик и взглянул на то место, где должны расти усы. — Но я бабье... не очень ценю... Сонечка... Вы видали Сонечку?..

— Самое лучшее, Тадик... И никогда не верьте женщинам, — важно проговорил Вадим. — Вы мне когда-нибудь много расскажете. Я страшно люблю любовные приключения.

— Скажите, Вадим Николаич, вы кто?

— То есть, как — кто?

— Вы учитесь, или вы артист, или что... ну, может быть,

инженер?

— Нет, я студент.

— Как жаль, что я остался на 2-й год, а то через три года я был бы тоже студентом и учился с Вами. Впрочем, это невозможно. С вами! — умиленно взглянул Тадик. — С вами... В Вас влюбилась даже Вера Ильинишна.

— Кто это, Вера Ильинишна?

— А вот вы в теннис играли. Ее отец миллиардер, а я ей записку написал один раз. Она ни с кем не разговаривает, только с Колей в теннис играет, но она даже не знает его фамилию. Вы совсем особенный, Вадим Николаич. А вы знаете, я умею прокалывать уши.

— Как уши?

— Вы хотите посмотреть? Это очень интересно. Меня факир выучил. Настоящий, из Индии. Это вовсе не трудно. Совсем не больно и без крови. Нужно зеркало и дамскую булавку. У вас есть дамская булавка? Я непременно покажу вам.

— Хорошо, Тадик, а пока до свиданья. Я пришел, — пожал Вадим Тадикову руку.

— Вы любите купаться? Можно мне за вами зайти завтра?

— Я рано встаю, Тадик.

— Все равно — я встану в шесть, в пять, чтобы только с вами. Когда, Вадим Николаич?

— В восемь...

— Я зайду за вами... До свиданья, до свиданья... — два раза прозвенел Тадиков голос из-за деревьев.

Вадим стоял один на террасе под лунным светом, думая о чем-то, смотрел на деревья, в небо и не знал, что Дора Марковна, не сводя глаз, укрывшись ветвями, глядит в его лицо.

— Везде то же, — улыбнулся Вадим луне и своим мыслям.

В глубине террасы на плетеном кресле спала его мама. Обгоревшая свеча, кувшин молока, любимые коржики — она ждала Вадима.

Он поел, потом долго смотрел в ее лицо, встал перед ней на колени и целовал мягкую теплую руку с жилками. Он хотел взять ее на руки и унести в спальню.

— Это будет красиво и трогательно, — сын, несущий мать, — но, быстро сообразив, что нести ему будет тяжело и костюм может измяться, он снова встал на колени и терся лбом и бровью о ее щеку, как ласковый котенок.

— Вадимчик, маленький Вадимчик, — еще не проснувшись, блаженно улыбаясь, говорила мама. — Вадимчик, зачем ты вырос, зачем ты вырос? — спрашивала старушка, притягивая за подбородок лицо сына к себе и глядя в глаза.

— Глаза у тебя чистые, Вадим, я верю тебе.

VI.

С шести утра Тадик, просыпавшийся обычно в двенадцать, бегал, дрожа от утреннего холода, в серой рубашке, под окнами Вадима.

Он влез на дерево, чтобы посмотреть в окно, оно было закрыто занавеской, сел на скамью, но страшно захотелось спать, поймал Мышь, пучеглазую собаку фрейлейн Туснельды, но мышь, обидевшись на его приставанья, убежала.

Ровно в восемь вышел Вадим, накинув простыню на плечо. Он сошел вниз и зажмурился от проснувшегося солнца.

— Вы, Тадик? Это хорошо.

— Только говорите мне ты, мне все говорят ты, — торжественно пожимая руки, лепетал Тадик.

Людей еще совсем не было в парке, только солнце и Тадик с Вадимом, да глухой садовник срезал пионы. Трава была еще в росе.

Солнце отблеснуло в глазах Вадима и он весь залился солнцем и улыбкой.

— Тадик, наперегонки! — вскрикнул Вадим и побежал, развевая простыней, Тадик за ним. К купальне первым при-

бежал Вадим, сильный, но рыхлый Тадик запыхался и отстал. Вадим звонко хохотал, ожидая Тадика.

— Как вы здорово бегаете, а я думал, вы важный, Вадим Николаич.

— Тадик, милый, я просто — Вадим, без Николаич, и как хорошо, правда?

— Правда... И вы умеете править парусом?

— Плохо.

— Я вас покатаю, Вадим, — гордо произнес последнее слово Тадик.

Они уплыли далеко, смеясь, брызгаясь, радуясь безлюдью. Соленая вода держала на поверхности и они проплыли с версту, пугая чаек.

На берегу кто-то появился, но, слыша смех двух мальчуганов, видя две мохнатые головы над водой, никто не знал, что это красавец Крамов.

Они вылезли вместе, толкаясь. Тадик первым начал одеваться, а Вадим замешкался у двери купальни. Когда Тадик повернулся к нему, его руки, застегивающие рубашку, невольно остановились.

Вадим стоял под солнечным лучом, скользящим по высокой талии, по выточенным белым ногам, он стоял тонкий и томный и не было в его теле ни одной лишней линии. Каждый мускул, крепкий и упругий, был силен и нежен, а солнце сушило влажную кожу, совершенно белую, с тонким рисунком голубых прожилок. Оставшиеся капельки влаги блестели на матовой коже, волосы стали каштановыми от воды, но концы их начали озаряться, высыхая.

Вадим протянул руки вверх к солнцу и только от этого движения, изнеженного и радостного, стало ясно, что эта неестественная красота — живая.

Вадим поднял ресницы навстречу солнцу, всего на миг блеснули его глаза.

— Как в костеле! — вымолвил Тадик и только тогда Вадим взглянул на мальчика, сидящего на скамье в незастегнутой рубаше, широко расставив толстые розовые ноги и глядящего на него онемевшим взором.

— Что? — засмеялся Вадим.

— Понимаешь ли ты, что ты сказал, мальчик?

Вадим и Тадик испуганно обернулись на этот новый, немного охриплый голос. Перед ними стоял в подтяжках незнакомый. Его волосы, очень густые и прямые, торчали, а лицо казалось вырубленным из грубого дерева, и еще было попорчено оспой.

— Понимаете ли вы, что он сказал? «Как в костеле»? — и господин подошел к Вадиму, залитому солнцем, и глядел искрящимися коричневыми глазами. Он протянул руку к груди Вадима, но точно не посмел дотронуться до его кожи, как верующий робеет перед святыней.

— Это — все! Смотрите. Понимаете ли вы, что это тело — все? Это жизнь, радость, вся красота! Все остальное — мертвечина; вы поняли? Берегитесь морщин. Первая морщина — конец радости. Берегитесь мыслей, от мыслей появляются морщины. Не надо науки — пусть над ней корпят муравьи, а искусством нужно только радовать тело. Массаж и гимнастика важнее университета, потому что ни один гений и ни один ученый не могут добиться того, чего вы добьетесь своим телом!

Как в костеле! Да, мальчик прав: нужно молиться телу, нужно строить костелы, храмы и молиться телу — потому что человеческое тело — это единственная красота

. Ваше тело — это религия

. Ваше тело — музыка. Если бы вас встретил Вагнер, он бы создал новое божественное произведение, если бы вас встретил Чайковский, он бы стал гением

Ваши губы — это соната, страстная, мучительно-нежная. Вы весь — музыка, каждый мускул, каждый кусочек тела. Вы — симфония, как симфония — солнце.

Вадим не закрывал своего тела от господина, он стоял, покраснев, но когда поднял посиневшие темные глаза — господин отступил. Не смущение было в них, а лишь холодное властное торжество только что признанного владыки.

— Вы думаете, я не понял Тадика?

Господину показалось, что с ним говорит молодой король.

— Да, я не понял его, но то, что вы сказали, я чувствовал давно, но не мог ясно формулировать. Это томило меня, а теперь я знаю.

Тадик не понимал, он слышал странные слова, глядел в сверкающие зеленые глаза и на чудное тело, ожившее от солнечных поцелуев и от слов странного господина. Тадик не знал даже — мистерия это или жизнь, но лицо у него было ослепленное, как у Икара, приблизившегося к солнцу.

Господин шел рядом с Вадимом. Фамилия господина была Загржевский, он был известный критик, он был неудавшийся художник, как почти все критики.

— Вы не можете не понимать музыку.

— Я не понимаю музыку, я люблю только флейту, но и ее я не понимаю, — ответил Вадим.

— Вы мне разрешите? Да? Я хочу смотреть на вас, когда вы слушаете музыку, я хочу смотреть, как разливается кровь в вашем теле, как загораются глаза, как оживает статуя. Мы пойдем к Татищевой. Она сыграет вам. Да? — он крепко сжал руку Вадима. — Да?...

Вадим думал что-то:

— Да...

VII.

Маргарита Ивановна Татищева всегда спала до двух часов дня.

В ее гостиной шторы были спущены мебель в кретоновых чехлах яркого цвета *saumon* и сильно пахло жасмином. Жасмин стоял везде — в вазах, в чашках, в тарелках, сорванный коротко и на длинных ветвях, белый, слоновой кости и почти желтый, свежий, в росе, пахнувший утром, расцветший вчера, с запахом клубники и тлеющий, у которого был запах тридцатилетней женщины и духов «Убиган». В комнате было душно и томно, а на диване лежало брошенное белье Татищевой.

Горничная отказалась будить Маргариту Ивановну и сам Загржевский пошел в спальню. Послышался носовой голос, ругательства, страстный говор Загржевского, опять шумное негодование.

— Убирайтесь от меня куда хотите. Я буду спать до двух и больше никаких. Спать, спать, спать.

Загржевский что-то говорил, она выругала его так, что Вадим покраснел, потом он вернулся:

— Маргарита Ивановна сейчас придет.

Вадим сидел в кресле и голова его немного ныла от жасмина, от солнца, пылавшего за темно-розовой занавеской.

Очень скоро вышла Татищева. На ней был широкий халат из тяжелого шелка, сильно помятый и заколотый низко на груди изумрудной булавкой. Она сама заспанная, глаза ее лиловато-серые, без выражения.

Татищева была безбровая, рот очень широкий и тонкий, волосы всегда взбиты кое-как, а тело — тощее и плоское, — только вырез глаз был странный, изысканный и пьяный, да руки тонки и белы, унизанные изумрудами и жемчугом.

Татищева была известна в столице странной и бурной игрой на рояле не менее, чем своими романами. Она часто брала и бросала мужчин, и никто не знал, чем восторгаются в этой сухопарой женщине. Говорили, что она перепробовала любовь всех рас из страсти к разнообразию.

— Где же ваш красавец, ради которого меня разбудили не свет, ни заря? — спросила она, голос ее, носовой, наглый, гармонировал с запахом жасмина. Вадим встал, не смущаясь.

— Вы?.. — невольно спросила Татищева и ее взгляд оценщика картины вдруг переменялся и слишком светлые глаза усталились на Вадима.

Загржевский был польщен.

— Я говорил вам.

— Молчите, — махнула она рукой — я буду играть. Встаньте к окну. Да отдерните же штору, Загржевский.

Она подошла к Вадиму совсем близко, не отрывая своих светлых глаз.

— Вероятно, такой взгляд бывает у змеи, — подумал Вадим.

Она взяла его руку и сжала в своей, точно мечтая навсегда оставить в своей руке ощущение его кожи, держала руку, не отрываясь.

— Я буду вам играть, я создам для вас, — говорила Татищева у его губ.

— Я не понимаю музыку, — холодно сказал Вадим.

Татищева захохотала. Она редко смеялась, смех ее был потому нелепый и тускло-звонкий.

— Встаньте здесь, у рояля.

Она откинула широкие рукава, так что ее сухие руки обнажились почти до плеч.

— Смотрите на меня, иначе я не могу играть.

Она начала.

Вадим негодовал — зачем пришел. Ему будет скучно, как на симфоническом концерте, куда он ходил дремать из-за моды.

Почему-то вспомнилась внезапно когда-то читанная повесть. Он старался припомнить. Кажется, в ней говорилось о море... Да, тихое, величавое море и небо синее, как сапфир, какие-то люди в белых одеждах. Почему он не может ясно вспомнить сюжет повести?

У самого моря он сидел на песке и тосковал. О чем, о чем он тосковал? О любви... Нет? О любви.... это не он тосковал. Это тосковал герой повести. О, если б вспомнить его имя.

Он сидел и мечтал на берегу каждый вечер. Много женщин приходило к нему, развратных, чистых. Ему дарили камни, он не брал. Ему целовали ноги — он смывал поцелуи в холоде моря. Он мечтал о любви. Почему ее не было? Как же было имя героя?

Как шумело море — когда подъезжал большой корабль. Корабль был вызолочен и в гирляндах, и пели песни на незнакомом языке.

Кто это на корабле? Какая странная одежда на человеке с длинной бородой, как горды его глаза. На нем повязка из изумрудов и алмазы на пряжках сандалий.

Люди на берегу шумят и поют, и все в драгоценных одеждах, и бросают цветы под ноги тому, что с длинной бородой, и кричат. Что они кричат? Вот сейчас станет ясно.

— Адриан.

Он ясно слышит:

— Адриан, Адриан.

А он сидит у самого моря. Нет, не он, не он, а герой повести. Солнце обжигает его тело, но оно остается белым. Он тоскует по любви.

Сегодня женщины ушли от него к тому, бросают под ноги длиннородому цветы. А тот?.. Тот идет к нему, оставивается, смотрит в его глаза.

Тот поражен, взял его руку, целует его руку, тот поднимает его от моря своим велящим синим взглядом.

— Это любовь, — думает он, — это любовь!...

Все смутно дальше. Вадим не может вспомнить повесть. Какая слабая память!

— Где я читал ее? Где читал? И как ясно слышу запах моря. Ведь жасмин не может пахнуть морем?

Вот опять как будто огромное здание, колонны. Толпа. Да, шум и запах, гаммы запахов.

Почему из запаха не делают картин? Бывает запах разного цвета.

Он слышит мускус, лаванду, розовое масло, он слышит орхидею и гелиотроп, он слышит пот лошадей. Может быть, это цирк? Кажется, арена и кровь и куски чудесного молодого тела. На свежую кровь сладостно смотреть. Но он тоскует. Того длиннородого он боится, он не любит его.

Он не любит, он боится, когда тот ласкает его плечи, он боится. Он лежит на шкуре белого медведя, какая она серебряная и похожа на лед. Тот целует его волосы, его волосы, а он смотрит в синие глаза, глаза молятся ему — Вадиму. Нет, таких не любят... Он сам бы хотел молиться, кому-нибудь молиться, так же с молитвой целовать руки.

— Ты божествен, — говорит ласкающий голос длиннородого.

— О, как больно быть божеством, если б я мог преклониться и молиться и любить. Как же имя героя повести?

Мелькает в мозгу и нет его. Как имя?...

Опять море. Как он давно не видал моря. Как он тосковал. Но его увозят в колеснице. Лошади белые, на них пурпурные и алые розы, на них сетки из жемчужин... А рядом синие глаза длиннобородого жгут любовью.

Какая душная ночь. Тот спит, а с балкона можно спуститься по тонкому поясу и бежать к морю.

— Какое душное море, какое темное.

Если б полюбить. Он опять у самого моря. Только на его сандалиях теперь изумруды и кожа у них золоченая, а от его тела пахнет мускусом, а раньше пахло прибором и раковинами.

Плыть по морю, плыть дальше и дальше. Как одинока его лодка, а море стало бурным. Отчего оно такое страстное? Может, море тоже ему молится, может, море его любит? И он встал на лодке, он бросил весла, а за веслами он сам упал в море. Как страстно море захлестнуло волной белую жертву. Как море кричало, а за ним гнались лодки и синие глаза искали его в море. Его выбросило волной. Длиннобородый протянул руки, но море не отдало и сжало мучительно-страстно свои объятия и душило его горло.

Вадим, совсем бледный, с похолодевшими глазами, схватил руки Татищевой:

— Не надо, не надо. Я вспомню, я сейчас вспомню! Я вспомню его имя. Не надо.

Зажал рукой глаза и сказал с мукой:

— Антиной.

Лицо Татищевой давно было в тумане, глаза распутно блестели, руки жадно и страстно бегали по клавишам, точно она была монахиня, переживающая экстаз. Губы побледнели и, не отрывая от Вадима взгляда, она играла свою мучительную нежную сонату и, когда с перекошенным лицом он закричал:

— Не надо, — ее руки бессильно упали, а со словом — Антиной, — она тихо и нежно прижалась, истомленная, к руке Вадима.

Загрядский сначала с восторгом наблюдал, как каждый звук впивался в лицо Вадима, как загорались его глаза и

пылали губы. Потом ему стало страшно, он хотел прекратить, но не было сил крикнуть, подняться с кресла, оторвать глаза от Вадима, оторвать слух от музыки.

Вадим шептал, бледный:

— Его звали — Антиной, но я никогда не читал такой повести.

— Вы, вы — Антиной. Это вас я играла, ваши губы, ваши глаза, ваше тело...

VIII.

— Да, Бог вас ладно сбил, — хлопая Вадима по голому плечу, говорил доктор Волков, — а все-таки мышьяка необходимо. Прямо сюда, в лопатку, тогда к концу лета во какой румянец произойдет и всякую меланхолию как рукой снимет. Вы, наверное, меланхолией страдаете? Теперь все страдают.

— Нет, я не страдаю.

— Вот за это хвалю, молодца. По лицу-то вы на свою матушку Анну Михайловну сильно смахиваете. Уж лет двадцать мы не виделись, еще в Казани гимназистом был.

— Да, я похож, только у меня другой цвет глаз.

— Насчет цветов я, батенька, швах. Я и узнал-то недавно, что глаза разноцветные бывают. Жена пояснила, что у нее серые, а у Брусовой — карие, а то, право, и не замечал.

Доктор отворил дверь кабинета в сад и, обнявши за плечи Вадима повел туда.

Сад был полон накурками. Красные, палевые, желтые, оранжевые, пурпурные, — они вились по стене балкона, ими наполнены были все клумбы, они сплетались и бежали через дерн к дорожкам, их причудливые колпачки улыбались своими пестрыми губами и, несмотря на утро, в саду пахло жарко и возбуждающе.

Перед средней клумбой-звездой стояла девушка почти спиной к вошедшим. Девушка была в белом, легком и облегающем платье, мягкая и тонкая фигурка немного нагну-

лась от тяжести большой заржавелой лейки. Она торопилась полить настурции, пока солнце не пришло в сад.

Ее маленькая голова внимательно наклонилась к клумбе, отчего ясно выступила нежная линия от чистого открытого лба к шее, очень прямой и тонкий пробор волнистых мягких пепельных волос, заканчивающихся косой, положенной на затылке возле шеи от уха до уха, только подчеркивал строгость линий.

— Аленушка, я тебе гостя привел.

Леся подняла голову, разбуженная, но ее глаза так и остались задумавшимися.

— Прошу любить и жаловать. Моя «единственная» Аленушка, а это знаешь кто?... Сын Анны Михайловны, помнишь, я утром говорил...

Леся подала руку, обтерев ее платком.

— Да-с, Вадим... кажется, Николаич? придется Вам поскучать у нас, ведь только название, что курорт, а так большая дача и столичных мало. Впрочем, вчера, говорят, приехал какой-то психопат столичный. Теперь только и разговора, что о нем. Всех дам с ума свел. «Аполлон, Гамлет». Наверно, какая-нибудь крашенная кукла. Но Вам он не подстать, — вы ведь еще мальчик, уж простите меня, — дружки погладил он Вадима.

— Ну, Аленушка, занимай гостя, а я пойду принимать.

Леся, слушая отца, совсем покраснела и мяла свой выпачканный землей платок в руке и не знала, как начать, когда остались вдвоем.

Вадим, наоборот, не сдерживал насмешливой улыбки и только щурился, будто от солнца.

— Почему у вас так много настурций?

— Я люблю настурции. Весной фиалки, а летом люблю настурции.

С первых же слов Вадима Лелино смущение прошло, она смотрела на него открыто, с некоторым любопытством, но совсем просто.

— Она была смущена бестактностью отца, совсем не моим появлением, — досадливо подумал Вадим.

— Вы не скучаете летом? — потерял он свой тон.

— Я никогда не скучаю, а летом особенно, конечно, если кругом лес и вода... Вы простите меня... — вдруг сконфузившись, сказала она. — Я кончу поливать, а то придет солнце и они могут повянуть.

— Пожалуйста.

Вадим нарочно позволил ей наклониться к лейке. Он оценил сразу ее фигурку, и ее косе, но ему хотелось по движениям определить, сколько ей лет. И теперь, когда она поднимала тяжелую лейку, он по невысокой груди, по хрупким детским плечам решил:

— Шестнадцать... только почему она так по-женски пропорциональна и мягка? Неужели?

— Позвольте мне полить цветы — вам тяжело.

— Нет, зачем же? Правда, лейка тяжелая, но вы не сумеете... Это совсем не так просто... И потом, она вас выпачкает.... — посмотрела боком Леля на его белый костюм.

Вадим упрямо повторил:

— А я все-таки хочу.

— Хорошо, я вас научу.

Вадим сам уверенно взял лейку и начал поливать цветы.

— Вы слишком много льете.

Вадим старался, но лейка неуклюже вертелась в руках и вода лилась не туда, куда нужно. Когда он кончил, его брюки были в зеленых разводах.

— Я говорила, что выпачкаетесь.

Вадим снова с досадой посмотрел в ее улыбавшееся хрупкое лицо с очень большими задумавшимися глазами.

— Вы скажите вашей маме, что их нужно замыть холодной водой.

Зазвонили в церкви гулко и радостно...

— Простите, что я Вас оставляю. Мне нужно в церковь. Уже к «Достоинно» звонят.

— Вы богомольная? — спросил презрительно Вадим.

— Нет, я — верующая... Только в церкви я молиться не умею. Люди толкаются, суетятся и молиться совсем нельзя. Но все-таки в церкви чувствуется праздник. Пение, свечи, звон... Молиться я тоже люблю, только без людей... А вы, конечно, все отрицаете...

— Почему «конечно»? —

— Мне так кажется... Люди вашего типа... — не находила слов Леля.

— Моего типа? — совсем зло сказал Вадим. — Какого же я типа? Я не предполагал, что подхожу под какой-то «тип»... Я, пожалуй, тоже могу молиться, только у нас, вероятно, разные боги.

— Разные?

— Да. Мой Бог — красота.

— А Христос — разве не красота?....

— Да... конечно... — открыто насмехаясь над Лелей, продолжал Вадим, но Леля Волкова ничего не заметила.

— Я пойду... До свиданья. Сегодня, вероятно, еще увидимся.

— Я провожу вас.

— Как хотите, но только здесь ведь совсем рядом.

— Любишь молиться? молиться?.. — думал Вадим, зло разглядывая зеленые разводы на белых брюках.

IX.

В воскресенье курорт особенно оживлялся. Приезжало много окрестных жителей, которые набрасывались на курортный парк. Не было ни одного уголка, куда бы не заходили изголодавшиеся горожане. Даже, к ужасу Лели Волковой, некоторые забирались на отмель, пугая мартинов и чаек.

В воскресенье все были в белом и парк становился шумящим сочетанием белого с зеленым.

Кафе над озером было переполнено. Сидели даже на бочках с лавровыми деревьями. Хотя Вадим только вчера приехал, его знали все, о нем все говорили. Многие дамы нетерпеливо бродили по курорту, но нигде его не встречали. Дора Марковна окончательно перестала стесняться. Она устала от поисков и, отбросив соломинку, прямо из бокала глотала ледяной мазагран, то бледнея, то алея от воспоми-

наний. Когда в кафе вошла старушка в белых митенках, опираясь на зонтик, Дора Марковна задохнулась глотком. Ей мучительно хотелось спросить, что с Вадимом, но старушка казалась непреступной в своих букольниках.

— Сударыня, — и сразу оборвала, — внизу у озера, мимо кафе, шел Вадим. Все глаза устремились туда. На фоне все от счастья забывшего Тадика, Вадим казался томным. Рот был сжат в скорбной и чувственной полуулыбке. Зной не отразился на матовой коже, прохладной и бледной. В петлице белого пиджака были две увядающие желтоватые настурции.

Женщины вздрагивали от мечтательных глаз. Только докторша шепнула — «актер» — и равнодушно отвернулась.

Вадим, обеда взглядом столы, заметил выражение всех лиц. — Его знали, его чувствовали, — одни с ненавистью, другие с деланным презрением, третьи с восхищением.

— Побежденные и те, которые будут побеждены, — подумал Вадим. Только один взгляд остановил его. В нем не было ни презренья, ни восторга, некоторое любопытство, но совсем не острое, равнодушное, как смотрят на красивую, но мало диковинную вещь. Это был взгляд Лели Волковой.

За отдельным столиком сидели трое: Вера Бурсова с отцом и его доверенный инженер «Помидор». Бурсов не смотрел на Вадима умышленно: о Вадиме слишком много говорили, чего Бурсов не любил.

Это был по годам уже старый человек, но седые волосы его, густые по-юношески, отброшенные со лба, открывали сильное угловатое лицо. Лоб был очень высок и выпуклый, а глаза, из-под чрезмерно густых посеребренных бровей, блестели зло и всевидяще. Он был бы похож на Вагнера, — если бы не чрезвычайно могучие плечи и шея, делающие его фигуру мощной и славянской. В губах Бурсова, тонких и ироничных, чувствовалась живая своеобразность губ Бодлера.

О Бурсове ходили легенды. Это он через два дня после объявления войны уже начертил замечательный план снарядного завода, а через полтора месяца на том заводе, где

всегда лили сахарные головы, шумели новые машины, выпускающие десятки тысяч обойм. Это он выстроил в одном из крупных южных городов дворец промышленности, стоящей несколько миллионов, но куда ежедневно привозили товара на десятки миллионов, товары из Америки и из Норвегии, из Японии и из Костромы. Это он, как полноправный король, восседал в своем фантастическом дворце.

Многие владыки заискивали перед Брусовым, но мало есть королей, окруженных такой роскошью, такой покорностью и подобострастием. Своих вассалов Брусов иногда бил по щекам, и они молчали, потому что он умел не только бить, но и задаривать, умел он и смывать обиды, потому что удар был символом начала милостей.

Ум Брусова никогда не почивал, и его мозги, как и его миллионы, всегда находились в движении; а за Дворцом промышленности на той же площади Брусов выстроил собственный дворец, где панно писал знаменитейшие из знаменитых — русские и французы, итальянцы и финны. Украшения привозили из Саксонии и с Урала, а японский принц прислал целый вагон расшитых шелков и слоновой кости. Несмотря на художников, на японские изыски и северский фарфор, дворец вышел похожим на терем, такой был неприветливый и тусклый, и в нем томила, как оставленная царица — жена Брусова, когда-то красавица, а теперь расплывшаяся и закисшая, как застоявшееся тесто. Она ездила по монастырям или благотворительствовала — всегда ненужно и бесцветно.

Брусов относился к ней с внешним почтением, по праздникам заглядывая на ее половину, но были известны вереницы женщин с «брусовской маркой», которых он выбирал на несколько дней и бросал так же внезапно и холодно, как брал. Впрочем, марки было достаточно, Брусова ценили, как знатока и подражать королю спешили все вассалы.

Если уважал кого Брусов, то только свою дочь, девушку со странностями, англазированной Веру Брусову и, когда его рискованные планы переживали какие-нибудь кризи-

сы, Брусов часто в час ночи будил Веру и целые часы обсуждал с ней положение.

Когда Вадим, с улыбкой слушая болтовню Тадика, проходил мимо столика Брусовых, он не мог не заметить умышленного невнимания. Поравнявшись, Вадим внезапно поднял голову и его глаза, широко открывшись, остановились на глазах Брусова. Сейчас же наклонил голову в поклоне Вере и так с опущенной головой прошел. Вадим заметил, как дрогнул левый угол губ Брусова — и остался собой доволен.

— Фальсификация! — смачно произнес Брусов.

— Что?

— Фальсификация. Играет в Уайльда юноша, только русского образца подделочка-то, нитки белые так и чувствуешь. Тот — денди был, а это кокотка — глазки опустит, глазки подымет.

«Помидор» задохнулся смехом и малиновые щеки его готовы были треснуть от наполнявшего их жира.

Х.

Небо было яркое, как болотная незабудка. Солнце лениво золотило дремавшее озеро.

Вера Брусова правила парусом. Ветер совсем прекратился, — и лодка покачивалась посередине озера.

Вадим почти не трогал руля.левой рукой он лениво бороздил темно-золотистую воду.

— Вы никогда не любили, Вадим Николаевич? — спросила Вера своим деловым английским голосом.

— Я не способен глубоко чувствовать, я — сын города.

— Если б вас полюбила гордая женщина сильно, по-настоящему — вы бы ответили?

— Ответить? Может быть. Но полюбить — нет.

XI.

На ивовой аллее возле озера медленно ехали двое. Уже смеркалось. От озера веяло влажным и страстным запахом лилий. Лошади запенились.

Опустив руку со стеклом, молчаливо ехал Вадим, белое кепи его сбилося на затылок. Он точно не слушал Загржевского.

— Леля Волкова вам нравится, Вадим Николаевич?

— Нет.

— Она интересна. Она, как статуя мадонны. В средневековых костелах бывают в каплицах такие. К ним подходят люди, множество людей и богомольцев. Приносят цветы. Кажется иногда, что мадонна улыбается, когда приносят цветы, но только кажется — она чужда жизни.

— О, если б было так.

— О чем вы, Вадим Николаевич?

— Если б встретить женщину, которая умела бы быть мадонной, умела принимать молитвы. Если б я мог молиться и любить... Я ищу любви. Я жду любви, пан Загржевский, но где же она? Как скучно быть божеством, когда хочется стать рабом. Разве могут женщины быть королевами, они только ищут, кому отдаться. Если б встретить недостижимую, недостижимую, и ждать у ее ног ее взгляда. Да, пан Загржевский, если б они умели хоть молиться, их молитва — чувственность.

Загржевский смотрел на глаза Вадима, они были новыми, в них была теплая печаль, они не казались изумрудными.

— Всякая молитва — чувственность, Вадим, все чувственность, все — везде желание тела. Разве религия не чувственность?... Он по нашему образу и подобию. А экстазы монахинь разве не похожи на экстазы любовниц? Разве в искусстве мы не услаждаем свою чувственность, разве ученые влюбляются в работу не телом? Отнимите у них любимую науку и они начнут физически страдать. Везде она разлита... Все мы любим телом, только телом, оттого тело

царствует, оттого тело — выше всех храмов и всех искусств. Зачем поклоняться статуям, смотреть на гипсовые слепки и мраморных кукол, когда есть тело, прекрасное, пылающее кровью? Зачем ходить в музеи, когда на пляжах, в банях можно наслаждаться живыми линиями, свободными позами, окраской кожи и блеском глаз? Современная девушка прекрасней Венеры Милосской, хотя ее тело искривлено корсетом. Прекрасней потому, что она живет, любит, дышит. Вы — божественный, ваше тело совершенно, ваши губы заставят всех упасть на колени, вы — жрец тела.

— Я не хочу этого.

— Неужели вам не больно, когда попирают красоту? неужели не берет ужас, когда на Тверской видите красивых напудренных женщин с раскрашенными губами?... Они идут целой вереницей и заглядывают пристально и жалобно в глаза мужчин. И эти — с оттопыренными животами, с золотыми пломбами, в лоснящихся котелках, они смеют с презрением окидывать красавиц только потому, что те проститутки. Большого унижения я не переживал. Еще когда красивые мужчины гнут спины над конторкой. Их глаза блекнут от темноты, их спины навсегда сгибаются, а пальцы становятся сухими, как костяшки на счетах...

— Я не хочу быть божеством, — почти закричал Вадим и серая легкая лошадь, звонко стуча, исчезла в облаке пыли от Загржевского, только белое кепи мелькнуло вдали.

ХII.

Вадим уже две недели жил на курорте, его знали все.

Только Леля Волкова, докторша и Брусов сохранили свои прежние чувства: равнодушие, ненависть и презрение.

Вадим не делал ни малейшего поползновения к знакомству. Он проводил время в гуляньи с Тадилом, в лодке, в купанье. Аккуратно в восемь он приходил на площадку, Жал руку всегда ждавшей Вере Брусовой, говорил «Здравствуйте» и начинал играть.

Был известен и час тенниса и час купанья — всегда многочисленные зрители следили за Вадимом, а он лениво и печально позировал. Тот веселый, смеющийся мальчик, который купался во второй день приезда с Тадилом, исчез навсегда, замененный грустным позером.

Вадим шел по аллее «вздохов» (управляющий курорта был поляк не без сентиментальности, и потому на углах аллеи торчали белые дощечки с курортно-поэтическими надписями). Под липой стояла девушка в напряженной и странной позе. Вадим сразу узнал Лелю Волкову. Она в руках беспомощно держала птицу. Птица-галка лежала на боку, широко раскрывая и закрывая клюв, точно ей хотелось пить. Ее круглые глаза остановились в непонимающей нестерпимой боли, а левая нога висела, как на ниточке — она была перебита. Розоватая кровь текла по руке Лели, падая потом стучащими каплями на песок.

— Что у вас?

— Галка.

— Откуда она?

Леля, стоявшая совсем, неподвижно, с застывшими руками, вдруг начала говорить, как проснувшаяся. Галка тихонько запищала.

— Это студент, такой, видели, сытый, он — ревматик с палкой и в бурках. Он шел по аллее, а здесь скакала галка. Ручная галка горничной Полины из семнадцатой дачи. Он сказал: «Всякая дрянь здесь ползает» — и ударил ее по ноге.

— Какая отвратительная жестокость. Таких негодяев четвертовать.

Леля, забыв галку, изумленно посмотрела в лицо Вадиму. Не было сомнения, — этот мужчина, всегда позирующий и декламирующий, говорил искренне, его лицо было бледно, рот сентиментально вздрагивал, а в глазах стояли слезы.

— Идемте сейчас же, забинтуем ногу птице.

— Птицам не бинтуют ног.

— Ваш отец наложит повязку, он должен наложить.

— Попробуем.

— А вы любите галок вообще, Леля?

— Нет, — они кричат.

Они шли рядом и Леля бережно несла галку.

Когда Дора Марковна встретила Вадима с женщиной, она остановилась, как пришибленная.

Дора Марковна за две недели сильно сдала. Она похудела, на щеках появились какие-то мешки, она не смеялась, не флиртовала. Дора Марковна, бывшая когда-то продавщицей в галантерейном магазине, по выходе замуж за пожилого инженера, влюблялась направо и налево, быстро надоедая, быстро бросая.

Она закипела, увидав Вадима с Лелей, но по лицу Лели поняла — здесь другое.

— Что случилось?

Вадим, никогда не говоривший с ней, ответил просто и без позы:

— Один негодяй перебил ногу ручной галке. Галке горничной Полины. Нужно забинтовать.

ХІІІ.

Леля вышла с террасы со своим белым шарфом, накинутым на локти, шла по дорожке, глядя на песок. Маленькие жабята, выпрыгнувшие сюда ночью, испуганно скакали обратно в траву.

— Вы уже встали?

Леля подняла голову, — навстречу шел Вадим, с простыне на руке.

— Я почти всегда так встаю.

Вадим взял ее за руку и почти прижался к ней губами, внезапно оборвав крепкий поцелуй. Леля слегка покраснела.

— Я не привыкла, чтобы мне целовали руку.

— Какая вы смешная.

— Нет, я не смешная, я просто обыкновенная и не привыкла к этому.

— Вы куда идете?

— На отмель.

— И я с вами.

Вадим уже давно шел рядом и, сейчас подойдя ближе, взял Лелю <под руку>.

— Я люблю под руку, но сейчас жарко, — спокойно высвободила руку Леля.

— Вы мечтать идете на отмель?

— Нет, просто так.

— Вы были влюблены, Леля?

— Да, как и все. Я любила одного студента три года. Он ходил в бурке с кисточкой, в папахе, а я в то время увлекалась Кавказом. Я думала, что он грузин. Через три года меня случайно познакомили, ко он оказался просто Иван Николаев и только одевался под кавказца.

— А по-настоящему вы любили? Любили так, чтоб хотелось отдаться, чтоб хотеть целовать?

— Как в книгах? Нет...

— Да сколько вам лет?

— Двадцать один.

— Что? Вам не семнадцать? Вам двадцать один?

— Разве это так много?

— Нет, я думал... У вас такой вид. Вы жизни совсем не знаете.

— Это все потому, что я мало читала.

— Как?

— Мало читала. В книгах всегда описывают жизнь страшно естественно и подробно. Естественней, чем на самом деле. Я не люблю читать.

— Мы пришли на отмель.

Леля села, вытянув ноги вперед. Каждое ее движение, даже самое неожиданное, было мягко и естественно. Наоборот, Вадим казался позирующим для фотографа.

— Как вы много не знаете, Леля. Не знаете, что значит любить, не знаете, что значит город. Жить полной жизнью здесь нельзя. Полной жизни, полной красоты не может быть без электричества. В нем все принимает новые тона — в нем все красочно. Вы не любите театр? Театр ярче жиз-

ни, в нем иллюзия, в нем мы переживаем все не дробясь. Сказки — это только игра электрических лучей, лучи солнца слишком примитивны, слишком яркие и просты для сказок. Красота в неестественности. Разве отшлифованные брильянты не красивее естественных, разве подрисованные женщины не волнующее простых? Жить нужно в городе, только там умеют радовать тело, только там умеют его ласкать ...

— Как вы хорошо говорите, — будто читаешь повесть.

— Только там почувствуешь радость, где миллионы страдают, а десятки радуются. Только на фоне чужих мучений можно по-настоящему наслаждаться радостью. И если бы все радовались — было бы скучно радоваться, радость была бы дешева. Но другие умирают, страдают, калечатся, когда они задыхаются в смраде города, а я наслаждаюсь ценной их мук, вот настоящая драгоценная радость. Только в городе, на фоне тысяч искалеченных уродов, понимаешь счастье прекрасного тела, только...

— Смотрите, какие мартыны.

Юноша, лицо которого давно перестало быть искусственным, а горело непривычно и жадно, вдруг осекся.

— Какие мартыны?..

— А вот эти, белые, вроде чаек, их зовут мартынами.

— Вы их любите?

— Нет, не очень. Я люблю только тех животных, которые похожи на растения, вот актиний.

— Вы сами похожи на растение, только не на актинию... На молодую плакучую березку.

— Правда? Я их люблю... Мне кажется, они всю жизнь чего-то ждут... Хотя я тоже жду. Сама не знаю, но жду и знаю, что-то хорошее будет впереди. Хорошее настоящее. Отчего вы не сядете рядом? Здесь славно, или опять боитесь выпачкать брюки? — Вадим хотел обидеться, но розовый луч утреннего солнца сделал глаза Лели фиолетовыми и волосы ее распушились от ветра. Она сидела на желтом песке — ноги вперед, руки придерживали шарф, который рвался, как крылья паруса. Вадим встал на одно колено и вдруг схватил Лелю за талию, опрокинул ее грудь за свое колено

и прижался к ее рту долгим впивающимся поцелуем.

Вадим сам отклонился от Лели и прочел в ее лице только испуганное удивление; он понял его, как проснувшееся желание и снова охватил ее тело, прижавшись грудью к груди и целуя ее губы раздражающими длинно-отрывистыми поцелуями.

Леля отвела его голову и, совершенно спокойная, встала. В ней не было презрения и негодования, она пошла и только, когда достигла конца отмели с зелеными молодыми березками, склонила голову и удивленный Вадим видел, как плечи ее дрожали. Он нагнал Лелю. Из ее очень больших глаз падали слезы. Вадим опять хотел целовать и другую он стал бы целовать, зная, что это покончит ее слезы.

Почему-то он остановился у первых березок и не посмел идти дальше за Лелей.

XIV.

Дора Марковна пригласила Лелю кататься на лодке. Леля нужна была ей, как отвод, иначе не посмела бы Дора подойти к Вадиму. Тадик был куплен. Две плитки шоколада, бокал мазаграна, а главное, фраза, сказанная томным полупшепотом Дорой:

— Какой вы сегодня интересный, Тадик.

Тадик обещал позвать Вадима. Обещать обещал, а когда дошло до дела, струсил, знал, что Вадим терпеть не может «пикников». Как удивился Тадик, когда на его предложение — «затевается маленькая прогулка, так, знаете, тесная компания — Дора Марковна, я, Леля Волкова и больше никого», — Вадим ответил очень быстро:

— Я еду.

Докторша, узнав, что приглашают Лелю, заявила:

— Что вы, Дора Марковна, что Леле за компания этот таинственный сеньор. Бог его знает, чем он занимается.

— И как вы это могли подумать, Марья Андреевна? Он самый обыкновенный студент. Как вы могли подумать?

— Чего тут думать? Сразу видно птицу по полету. Профессионал-девогубитель. Я не пущу Лелю.

Леля ехать не хотела, но обиделась.

— Я не узнаю тебя, мама. Ты точно боишься за меня.

— И боюсь, вы, девки — народ глупый. Хорошего не любите, а вот такого. Не пущу я тебя, больше никаких.

— Mamочка, я поеду.

— Я говорю, не пущу. Вы, теперешние, мать ни в грош не ставите. Не для зла я тебе говорю. Как ты смеешь мне прекословить? Как вы смеее мою дочь приглашать в такую компанию? Может быть, он альфонс какой-нибудь, может быть, он просто развратник. Я не допущу, слышите, не допущу. Не допущу...

Марья Андреевна, обычно спокойная и вразумительная барыня, сейчас разнервничалась, как истеричка.

— Мама, я не узнаю тебя. Я поеду, мама.

— Не езд, Леля, я умоляю тебя, не езд, — вдруг нежно и кротко заговорила Марья Андреевна, целуя Лелю в висок.

— Ты больна, мамочка. Ты изнервничалась. Теперь неудобно перед Дорой Марковной, поедем вместе, а больше я с ним и видаться не буду, только не волнуйся.

Когда Вадим увидел приближавшуюся Лелю, что-то радостное его наполнило; он смотрел на знакомое Лелино лицо и оно казалось ему таким удивительным, таким особенным. И очень большие глаза, и бледные веснушки около них, и нежная, слегка розовая кожа.

— Неужели я влюблен? неужели я влюблен? — думал Вадим.

— Вы меня простите, — совсем не по-своему сказал он. — Я сам не понял моего чувства к Вам.

— Теперь уже прошло, но тогда было очень больно, Вадим Николаевич.

— Хотите, Леля, будем друзьями, я никогда больше...

— Друзьями? Попробуем — это хорошо. Только вы меня не обманываете — меня всякий может обмануть — я всему верю.

Он крепко, бодро пожал ее руку и, вдруг сконфузившись, радостно закричал:

— Тадик, за веслами!

Вадим преобразился, подсаживая дам с веселой улыбкой, шутил, ухаживал за фрейлейн Туснельдой, брызгая на нее водой. Лицо его стало мальчишеским, даже нос как будто поднялся вверх, а глаза округлели.

— Можно снять пиджак?

Он снял и остался в темно-голубом трико. Грудь была сильно вырезана и руки до плеч голые. Дамы невольно сконфуженно отвели взгляд на миг глаза и Вадим на миг стал старым Вадимом, он принял позу, но с первым взмахом весел его мускулы заработали, он впитывал своим телом брызги и солнце, и радовалось все его великолепное сильное тело, а глаза радовались чему-то иному, иногда быстро скользя по Леле.

Фрейлейн Туснельда сидела на носу, а Тадик правил. Вадим брызгал на Туснельду веслом и она взвизгивала от брызг. Иногда он качал ногами лодку и фрейлейн кричала:

— Ах, девятый вал, девятый вал, мы можем выпасть и погибнуть, — а когда лодка сама качалась, Дора Марковна смеялась, брызгала на Вадима и говорила кокетливо:

— Опять это вы. Опять раскачиваете.

Они объезжали озеро, подъезжали под купальные мостки, когда все кричали, хохотали и вынуждены были сгибаться. Все болтали много, кроме докторши, она молчала, сурово поглядывая на Вадимовы голые руки и, не переставая курить, нервно затягивалась.

Вадим высаживал Лелю последней и подольше задерживал ее локоть в горячей и стертой после гребли руке.

Вечером Вадим долго бродил с Тадиком и все думал:

— Неужели влюблен? Неужели влюблен? Какое счастье <быть> влюбленным.

XV.

Утро. Какое утро было!... Точно новый родился Вадим. Как жить хотелось, и плавать, и бегать, и вспоминать. Вспоминать хрупкое лицо и очень большие глаза, и отмель, и слезы у зеленых березок.

— Поплывем, Тадик, к отмели.

— Пожалуй, полторы версты будет.

— Что же, разве устанешь?

— Ну что вы, Вадим, я-то устану? — и они поплыли наперегонки, брызгаясь. То на махах, то на спине, то болтая руками часто и быстро, как пудели.

Приплыли туда уставшие и легли на песок.

Тадик вывалился и изображал коричневого индейца, а Вадим в бесстыдной позе разлегся под солнцем, подняв одно колено, лениво подставляя грудь лучам, прищурив глаза и думая все то же:

— Неужели я влюблен?

Тадик, уже достаточно навозившийся и недовольный невниманием Вадима к его индейскому костюму, вдруг окликнул:

— Ну, ей Богу, это дама!

— Где? — лениво спросил Вадим.

— Вон чепец полосатый! Уплывет, каналья.

Вадим нехотя поднял веки. Дама не уплывала, точно оцепенела вдали.

Ее разглядеть было нельзя — солнце отсвечивало, но их, без сомнения, она видела очень ясно.

— Какая нахалка, — говорил Тадик, разгуливая спокойно по берегу с татуировкой из песка. — Проучим, пойдемте прямо на нее.

Вадим колебался, но лежать ему надоело и он решился. Встал и по отмели пошел в воду прямо на даму. Вода долго

была мелкая и было немного стыдно, но Вадим шел. Дама сделала какое-то внезапное, очень порывистое движение, точно сорвалась откуда-то, и поплыла лихорадочно.

Так, кроме чепца, юноши ничего не увидали.

— Вот нахалка, — волновался Тадик. — Уплыла. Кто бы это была? Непременно узнаю, у кого полосатый чепец.

XVI.

Леся смеялась в лодке, но ей было тяжело, и в дружбу Вадима она верила только рассудком. Сердце говорило другое:

— Лжешь, себе лжешь, Леся, — говорило сердце.

Ночь она плохо спала, утром в девять пошла по привычке посидеть на отмель. Отмель на нее всегда хорошо действовала, успокаивающе. Она проходила. Мартыны ее не боялись и сидели стаями на отмели, выжидая рыбы, и она сидела, никому не мешая, в тишине. Сегодня пришла — мартыны, испуганные, летали над отмелью, над озером, только пять-шесть сидели у самой воды.

— Кто-то был, — поняла Леся.

Ей вспомнилось вчера. Разговор. Глаза Вадима и это — ужасное, обидное, оскорбительное. Нет, отмель не дала покоя — мартыны жалобно и пронзительно кричали, исчезла тишина.

Леся хотела встать, идти и вдруг увидела человеческие ступни — много следов, взъерошенный песок и прямо рядом с собой странный отпечаток. Леся сразу поняла, что здесь лежал голый человек, а сильный вжатый след руки сказал, — кто лежал здесь и вихрь чего-то тяжелого, хриплого подошел к горлу — почему-то ясно представился он нагой, стало гадко во рту и гадко на душе. Леся пошла. Мартыны испуганно-остро кричали над взъерошенным песком.

Леся уходила и знала, что к отмели никогда не вернется.

XVII.

В субботу казачий оркестр играл лезгинку, вальсы, хиа-вату и кадрили — курортная публика танцевала. Две последние субботы танцевал и Вадим. Он был неузнаваем, так много танцевал и смеялся, так юно было его ликующее лицо, и глаза его говорили откровенно:

— Ликую, потому что влюблен.

Он танцевал почти всегда с Лелей, иногда лишь осчастливливая Туснельду или Дору. С Лелей и гулял он много. Леля слушала его рассуждения и сама говорила.

— Я влюблен в вас, Леля.

— Нет, нет, мы — друзья.

Докторша по-прежнему была строга к Вадиму и называла его «сусальный красавец».

Дора Марковна затеяла очень благотворительный спектакль.

— Вы не артист, Вадим Николаич?

— О, конечно, Дора Марковна, я — артист.

— Не сыграете ли в «Дорогом поцелуе»? Это так весело, ходить на репетиции.

— О, нет, увольте, Дора Марковна, я не люблю сутолоки.

— Не может быть, вы будете участвовать в концертном отделении. Студент Васильев будет читать «Борис Годунов» и «Сумасшедшего» Апухтина в белом халате. Я буду петь под Плевицкую.

— Хорошо... Да.

XVIII.

Маргарита Ивановна лежала в гамаке. Перед ней в плетеном кресле сидел Загржевский. Белая фланель делала его еще менее элегантным.

Маргарита Ивановна курила длинные папиросы с опиумом. Халат запахнулся на груди. На носу и на щеках пудра стояла и лицо блестело. Глаза тоже блестели на солнце, лениво и ждуще прищуренные.

Девы, повязки неся на глазах,
Прочь удалите златые повязки.

— Знаете, Загржевский, вы — негодяй.
— Почему так немилостивы, Маргарита Ивановна?
— Почему, почему? Я не могу больше играть — понимаете вы? Вы поняли, что я все потеряла?
— Потеряли? Вы?
— Да, со дня Антиноя. Понимаете?
Она взволнованно кусала папиросу.
— Я всюду, везде играю его, только его, он отравил мою музыку.

Она опять задумалась, покачиваясь.

Девы, повязки неся на глазах,
О, берегите златые повязки.

Загржевский, блестящими глазами глядя на ее лицо, сказал:

— Возьмите его.
— Взять? Да, я пока брала всех, всех, кто интересовал, — она засмеялась своим тусклым смехом и глаза ее зазмеились... — Всех, начиная с нашего несравненного премьера и до жокея-негра. Только это иное — понимаете, я его не могу взять, потому что он меня взял, потому я всю силу потеряла, я робею при нем и это не любовь. Разве можно любить за одно тело? Я похожее чувствовала только раз, ког-

да в Риме увидала в часовне икону святого Себастьяна. Его раны я любила, его тело я любила. Я хочу прикоснуться к нему. Даже не ласкать, а прикоснуться. Только не смею. На солнце больно смотреть, Загржевский.

Девы, повязки неся на глазах,
Крепче стяните золотые повязки!

XIX.

Докторша Волкова не ходила сегодня обедать. В последние дни она ходила за полчаса раньше и сидела, задумавшись, у стола, часто поднимая голову на входящую публику. Она очень много купалась теперь целыми днями, уплывала очень далеко и потому, вероятно, так осунулась и побледнела.

— Что с тобой, Манюша? дай мне свой пульс, — говорил доктор.

Но она отталкивала тарелку, стул, с шумом хлопала дверью и уходила.

— Ничего не понимаю.

— Мамочка больна, — говорила Леля и шла к матери, прижималась головой к ее груди и гладила тихо ее плечо.

— Что с тобой, мама?

— Ничего, ничего, это все выдумки Платона Александровича. Он везде видит больных, — брала в руки голову Лели и долго смотрела в очень большие серые глаза.

— Леля, я боюсь за тебя, — говорила она странным, нервным голосом.

— Но, мама, какая опасность?

— Мало ли что может случиться. Все может случиться. Если ты можешь молиться — молись, — и снова поглядела в ее глаза.

— Уйди, Леля, уйди от меня.

Она со страхом смотрела, боялась, что Леля не уйдет и тогда она — Марья Андреевна — не выдержит и начнет го-

ворить что-то не то, не то.

Леля уходила, а Марья Андреевна оставалась одна, сидела молча, положив голову на локти, с тяжелой тоской глядела в окно и было ей скучно невыносимо.

Самое странное то, что никогда этого раньше не случилось с Марьей Андреевной, она была всегда такой спокойной, уравновешенной, точно нервы у нее канатные.

И сегодня она не шла обедать, а сидела перед окном, смотрела через локти на аллею, а мысли ее, такие же невыносимые, вытягивались из мозга.

Марья Андреевна кончила гимназию в Клину и сразу, шестнадцатилетняя, стала школьной учительницей. У нее была энергия, и хитрость, и здравый смысл. Она умела покаякать с бабами, утешить молодуху, которую часто бросает муж, польстить какому-нибудь старшому — ее в селе уважали и побаивались.

Через год она встретила студента Платошу, приехавшего погостить в тетино имение, и сразу сказала, что станет его женой. Через два месяца уже была свадьба и Маруся переехала в Москву; Платоша, учившийся неладно, два года сидевший на третьем курсе, кончил быстро и весьма успешно, а Маруся, недоедавшая и бегавшая по урокам, не получив диплома, знала фармакологию, и латынь, и анатомию пояснее Платоши. Из Маруси она превратилась в Марью Андреевну, в курящую даму с баском, которая режет «правду-матку» в глаза, носит английские кофточки, ее боялись и уважали, как всегда относятся к таким дамам, у нее спрашивали рецепты и толстые журналы. С Платоном Александрычем она была снисходительна и мягка. Лелю любила нежно дружеской любовью, без сентиментальности.

И вот эта Марья Андреевна сидела перед окном, положив голову на локти.

Папироска давно потухла на подоконнике.

Мимо окна прошел Тадик и с ним Вадим Крамов. Марья Андреевна хотела закрыть глаза, но не могла, и так, не отрываясь, следила за каждым движением Вадима. Когда раздалась его фраза:

— Жизнь — это маленький театр, Тадик, — и его смех, хрустящий и сдержанный, Марья Андреевна, как от удара тысячи иголок, поднялась во весь рост, вся в красных пятнах, и побежала по комнате, чтоб успеть еще раз увидеть Вадима, чтоб догнать его, но около дверей вдруг упала, упала навзничь, ударившись боком о спинку кровати.

Когда падала, Марья Андреевна вспомнила мгновенно все, что случилось. Первый приход Вадима, ее волнение сразу, ее ненависть, острую и мучительную. Каждый взгляд его, каждое его движение раздражало ее. И она ненавидела все яростнее, она говорила ему грубости, она волновалась все больше — объясняя это боязнью за Лелю. И потом эта поездка на лодке, его руки, голые до плеч, и потом это ужасное купанье, когда она увидела все его нагое тело в солнце, дразнящее и прекрасное, такое прекрасное, что она едва доплыла до купальни, что она бредила, бредила, что она не могла видеть ни одного мужчину, не представив себе его тело, не сравнив их с его телом и, как только она закрывала глаза, просыпалась в ней матовая белая кожа на светлом золоте песка, и она краснела и терзалась и всюду она видела эти губы, впивающие воздух, жадные изогнутые губы сладострастного ребенка и еще эти волосы, бронзовые гроздья волос, которые так мучительно хотелось терзать пальцами, прижимать к губам.

Больше четверти часа лежала без чувств Марья Андреевна. Леля обедала в курзале, доктора задержали на приеме. Когда он увидел ее на приеме лежащую, он сел перед ней на корточки и не мог ничего сказать, он щупал пульс и ничего не слышал, но он совершенно забыл, что делают с обморочными. Доктор Волков не боялся никаких операций, но своих не лечил и теперь он беспомощно сидел на корточках, держал руку Марьи Андреевны и шептал, не понимая:

— Манюшечка, что с тобой? Манюша, Манюшечка...

XX.

Целое воскресенье разгоряченные жарой и волнением любители бегали по курорту в поисках стульев, портьер и костюмов. И, как всегда, картавили любители и шепелявили любительницы.

После двух пьес, двух длиннейших антрактов начался кониерт. Рычал Борис Годунов в белом халате (он не успел переодеться после «Сумасшедшего»), пел какой-то тенор в чесучовом галстуке. Движения его рта были усилены, но звуков никто не слышал.

После длиннейшей паузы на небольшой сцене в пестрых обоях появился юноша.

Бронзовые волосы, разделенные посредине пробором, давали раму узкому и высокому белому лбу... Ловкая визитка делала его фигуру еще более гибкой. Он подошел к самой публике, взялся за спинку стула.

— Крамов, Крамов, — шептали всем знакомое слово.

Вадим почти запел.

Гортанный голос, не совсем чистый, звучал как-то необычно.

— Павлин, — сказала докторша.

Читал он или пел, его это были стихи или чужие, подражал он модному поэту или импровизировал в своем пении — никто не знал. Слыхали сначала только неприятный привкус гортанного голоса, но понемногу голос сковал негодование, и смех, острый ядовитый смех перешел в восторг.

Он пел о сказках жутко-электрического города, о поцелуйном разнообразии ласк, он пел о радостях тела. Голос его был точно кальяновый фонтан, голос его был точно отрывистые, дразнящие, дрожащие поцелуи; у женщин трепетали губы и жарко разгорались глаза и взгляды мужчин тоже стали горячими.

Губы Вадима, раскрытые, как ядовитый цветок, дрожали и трепетали ресницы, а руки, сильные и нежные, сжимали спинку стула.

Вадим чувствовал свою власть, не сознавая, чувствовал, что протяни он свои руки им, этому полку женщин, — все они бросятся унижать поцелуями тонкие белые пальцы.

В опьянении хлопали в ладоши женщины, не зная, чему хлопают — гортанному пенью, темно-розовым губам, открывающимся в наивном сладострастии или этим рукам, томным и ослепительным.

Вадим пел и пел, а потом вышел не за кулисы, а прямо в публику. И поняли женщины, поняли, что не пенью аплодировали они, а этому божественному телу, этому жрецу тела, у которого глаза горели, как темные изумруды и, когда издали со сцены он пришел к ним и стал осязаем — лица женщин исказились молитвенным сладострастием и каждой хотелось только дотронуться до его тела и с глазами, полными экстаза, с грудью, восторженно напряженными, они тянулись к нему и общим стал шепот, похожий на крик этой массы тела:

— Крамов, Крамов...

Как в мечети восклицают: Магомет, Магомет, — кричали здесь:

— Крамов, Крамов.

И он шел сквозь строй женщин, он шел среди протянутых объятий, жадных глаз и раскрытых губ, шел ослепительный и гордый и, когда он приближался, протянутые руки застывали и рты немели, не смея прикоснуться.

— Он подойдет ко мне,— думала Леля.

Она одна не была в жадной ажитации, но ей хотелось говорить с Вадимом. Он остановился возле Доры Марковны и та, не скрывая, не в состоянии скрыть себя — сказала:

— Вадим, Вадим, я понимаю Вас... Я поняла... — и жала его руки.

Леля была обижена, но, поборов себя, вскользь спросила:

— Первый вальс оставить вам, как всегда, Вадим Николаевич?

— Оставьте, — небрежно сказал Вадим, а когда зазвене-ло «Невозвратное время», то Вадим взял за талию привыч-

ной рукой Дору Марковну и она отдавалась ему в вальсе.

Леля ждала. Отказывала кавалерам и сидела одна. Три вальса прошло, и лезгинка, и хиавата, и начался четвертый вальс. Леля встала и пошла прочь, согнув плечи, как тогда у березок. Проходя мимо танцующего Вадима, она сказала тихо:

— На два слова, Вадим Николаевич.

Вадим вышел вслед за ней.

Круглый фонарь качался над аллеей, смутный, молочный и мерцающий, как сердолик.

— За что, Вадим Николаевич?

— В чем дело, Леля?

— За что вы обидели меня?

— Вас, я?

— Всегда дружба, а сегодня не подойдете. Я ждала, вы даже танцевать не захотели.

— Леля, я не могу больше, я просто не могу играть в дружбу. Я не скрывал, — я был влюблен в вас, — и при свете сердоликового фонаря его глаза блеснули у ее глаз и она почувствовала быстро дышащий рот у виска, и пальцы его, сжимающие ее руки.

— Леля, Леля, Леля, почему вы не хотите счастья? Почему? Леля, смотрите в мои глаза. Неужели вы не хотите их целовать, неужели мои губы не зажигают вас, неужели мои руки не будят вас?

И он сжимал Лелины руки, хрупкие руки.

— Не надо так близко, — Леле почему-то грустен был его голос и казался чужим — заученным.

Вадим снова оставил ее руку и, не такой, как он был с Лелей, а чужой, как для публики — с опущенными ресницами и надменной красотой:

— Должно быть, мне не дано разбудить ваше тело к жизни, к радости. Ждите другого — вы любите ждать... Я уйду к тем, кто возьмет меня, как счастье, как бога. В дружбу играть — это фальшь, Леля. Дружба — это скучная теория. Что такое дружба без прикосновенья рук и губ? Друзей предают за одну улыбку возлюбленного. Прощайте, Леля, я спешу.

Прежде, чем Леля сообразила, — на ее шее горел поцелуй, оборванный поцелуй Вадима.

А Вадим исчез в подъезде, откуда казачий оркестр звучал вальсом «Ожиданье».

Снова танцевал Вадим, каждый танец менял даму, но все они были, как одна. Покорны были тела, влажны глаза и приоткрыты губы.

— Как чашки фабричной работы. Штампованное сладострастие. Скушно.

Играли в почту. Вадиму приносили много записок. Все то же. Его звали, звали штампованные на свидание. Вадим сразу отметил почерк, косой, нервный, крепкий, почти мужской, по-женски трепетный.

— И я, как все. И я побеждена... Я жду, я молюсь, я гибну и не могу молчать, не могу...

Больше ни слова.

Вадим осмотрел разморенных танцорш. Нет — все слишком податливы и сентиментальны. Здесь — настоящее. Он скользнул по пристальному взгляду блестящих стальных глаз Брусова на фрейлейн Туснельду. Около той сидела докторша, с нескрываемым презрением разглядывая Вадима. Рука ее была пуста, но делала нервное движение, точно мяла папиросу. Она сидела, положив ногу на ногу, и Вадим машинально остановил на ней взгляд. Внезапно в презрении докторши он заметил робкий промельк и отвел глаза на письмо.

Разглядывал крупные, косые буквы.

— Это не штамп, не штамп, — и снова встретил глаза докторши.

Вадима точно хлестнул ее минутный призыв, губы его насмешливо вздернулись, и вдруг он на глазах у всех послал ей воздушный поцелуй такой сладкий, как у цирковых наездниц. Докторша вздрогнула, встала, побледнев, с помутневшими глазами и вышла, шатаясь, из залы.

XXI.

Вадим вышел за свет молочного фонаря и пошел по приозерной аллее.

На аллее было сыро и загадочно, блестели светляки. Они казались цветами папоротника, а запах папоротника, тонкий и дурманяще-сырой, делал ночь похожей на ночь под Ивана Купала.

Когда Вадим был уже не в луче фонаря, чьи-то руки схватили его руки и вздох, похожий на потушенный стон, вырвался из чьей-то груди. По странному запаху левкоя, по цепкой страстности тонких рук Вадим угадал эту женщину. А она ни слова не сказала, точно была загипнотизирована ночью, загадочной, как запах лилии, она вела его и он <был> послушен воле страстных рук, не выпускавших его ладони.

Она смело и сильно открыла двери в свой дом — словно иначе и быть не могло.

Из большой вазы у входа она взяла сноп разноцветных левкоев, бросала цветы на пол к его ногам и он шел по левкоям. Сквозь лиловую занавесь близко за окном горел электрический фонарь — и вся комната была аметистовой. Левкои были везде, лиловея от света, казались розоватыми, сиреневыми и фиолетовыми, как венецианский бархат и прозрачно-лиловыми, как аметист. Их запах, запах расцветшей любви, запах молодого тела не туманил, подобно тлеющему жасмину, а заставлял любить и желать.

— Вас я хотела, вас я любила, вами отравлена! Мне принадлежали все, кого я желала, и я никого не желала, как вас.

Длинные приподнятые глаза ее были полны дурманом, крупные аметисты ожерелья вздрагивали на груди, а шепот ее казался стонами любви. Вадим взглянул долго в ее глаза, в его холодном взгляде была такая тоска по страсти, что женщина воскликнула:

— Антиной, Антиной.

И, видя его глаза, ставшие покорными, она смело, как мужчина, стала обнажать его тело. Она отступила ослепленная. В лиловом сумраке тело казалось жемчужным. Взгляд ее застыл в восторге, она подошла ближе, желая осязать, но когда уже чувствовала дыхание его кожи, когда ее глаза были у губ Соломона и рот касался его шеи — она оттринула, как богохульница.

— Этого тела нельзя взять телом.

Какой-то другой волей женщина села за рояль и, не отрываясь от жемчужного, но пылающего призрака, она начала играть. Теплый огонь шел из ее пальцев, точно плавились клавиши и звуки гимном наполняли комнату, пропахшую дыханием левкоев.

Загадочный и божественный стоял юноша в лучах гимна, в лучах страстно целующей экстазной музыки, а женщина, бледнее его тела, бросала в клавиши дикую извивающуюся страстность.

Долго странные звуки опьяняли ночь, налитанную папоротником, как ночь Ивана Купала.

Когда кончилась ночь, музыка оборвалась. Как от опиума упала бледная женщина на клавиши, юноша вышел.

Он ушел, она вздрогнула, страстно вскрикнули клавиши рояля:

Каждый кусочек тела,
Каждая капля крови.
Каждая капля крови. . . .
. *

прошептала женщина и вдруг зарыдала. Рояль снова вскрикнул.

* Стихи М. Кузмина.

Было три часа ночи. Светало, когда Вадим возвратился к себе. Он поднялся на террасу. От белой маркизы отделилась светлая фигура.

— Дора Марковна?

— Я ждала вас, я уже ждала вас давно. Где вы были? Вы мечтали в лесу? Я проверила — все женщины, с которыми вы могли быть — дома. Вы были — один?

Она взяла его руку.

— Я ничего не прошу, ну совсем ничего, я хочу только ласки от вас. Я никого не любила, клянусь вам. Ну все, что хотите. Я умоляю вас, о да, прошу... Смотрите, как я унижаюсь.

Она прижала к губам его руки.

— Ну позвольте только целовать, позвольте... Можно, ну, можно?...

— Не надо, Дора Марковна, от рук вы пойдете дальше, — жестоко усмехнулся Вадим.

— Не нужно издеваться, не нужно.... Ведь я вас люблю... Ведь, если скажете зарезать — кого хотите зарезу.

Вадим тоскливо взялся за ручку двери. Она схватила его руки.

— Подождите, ведь это вам ничего не стоит. Я же ничего не прошу. Вы любите другую? Ну только скажите?...

— Я никого не люблю, Дора Марковна.

— Никого? Ни одну женщину? Почему у вас такое бледное лицо?

— Да, ни одну женщину.

Глаза Доры Марковны мгновение перестали волноваться, но сейчас же в них опять загорелся огонек.

— А вы, может быть, женщин не любите вообще?

— Вы угадали, Дора Марковна, — отрывисто, насмехаясь, сказал Вадим и дверь за собой запер на ключ.

Долго еще стояла Дора Марковна, жалкая, смешная, отвергнутая, глядя на его тень в занавешенном окне. Потом пошла в парк и бродила, не плача, бродила без цели, не думая, — думать она не могла и только шептала:

— Вадим, Вадим, Вадим.

Вадим спокойно зашел в свою комнату, разделся, обтерся мокрым мохнатым полотенцем и лег совершенно нагой в постель, счастливо ощущая холод чистого полотна простыни на слегка влажном освеженном теле. Через минуту он уже спал.

Матушка Вадима проснулась, зажгла свечу и в белом чепце, белой ночной кофточке с кружевами у шеи, на цыпочках вошла в комнату.

Улыбка Вадима была счастлива по-детски... Она натянула на обнажившуюся ногу простыню, подоткнула ее сбоку, ласково перекрестив Вадима, сказала:

— Спи, мой маленький, — и ушла, шлепая сафьяновыми туфлями.

XXII.

В воскресенье наехали обычные гости. За табльдотом пустовало два места: докторши и Доры Марковны.

Брусов сразу заметил Дорино отсутствие. Когда-то в течение двух недель он жил с Дорой и говаривал всегда:

— Молодец баба, умеет бросать и быть брошенной.

Расстались они полюбовно, друзьями. Брусов пошел навестить ее. Дора Марковна шесть дней лежала в постели. Складки на ее лице выступили сильнее, лицо горело и блестели до неприятности черносливые глаза. Она билась, не спала и компрессы ей не помогали.

— Что, Дорочка, плохи дела?

— Даже совсем, Илья Дмитрич.

— Что у тебя? Доктора-то, конечно, брешают, — он провел широкой большой ладонью по ее руке.

— Стара стала Дорочка, Илья Дмитрич.

— Ну, проживем еще.

— Какая тут жизнь, если бросать начали, конец, значит, молодости и женщине конец.

— Будто раньше-то мало бросали?

— Разве я говорю? И меня бросали, и я. Ну, разве без этого в любви можно? Но чтоб брезговать, чтоб дверь хлопнуть, — не бывало этого.

— Все-таки врешь ты. Не заболела бы ты оттого, что на твое самолюбие наступили. Толком говори, не мути.

— Что говорить? — передернула плечом Дора Марковна. — Люблю я, Илья Дмитрич...

— И ты ожглась, — хотел усмехнуться Брусов, но не усмехнулся, — на него не Дорочка смотрела; ведь знал Дорочку, флиртующую, развеселую Дорочку, которая коньяк стаканами пила, канкан плясала, в железку и преферанс резалась до десяти утра, — никогда не думал он увидеть у Дорочки такие глаза, страдающие, больные, сведенные мукой.

— Да ты, кажется, действительно свихнулась?.. Кто он-то?

— Крамов... — с трудом выговорила Дорочка.

— Красив парень... — у Брусова из-под бровей блеснули глаза.

— Разве ты знаешь, как он красив, откуда ты можешь это знать? Он такой красивый, как в жизни никогда не может быть таких красивых, он такой красивый, что смотреть на него нельзя, как на солнце.

— Ну, ладно, я поэзий-то не люблю.

— Никогда, ты пойми, никогда он не будет моим, — вдруг трагически произнесла Дора, — и добиться нельзя.

— Почему это так безнадежно?

— Он женщин не любит.

— А...

Брусов пошел на веранду над озером и своими зоркими глазами долго всматривался в озеро. Сидел он верхом на скамье и курил сигару за сигарой.

Купальни длинным коридором шли в озеро. На правую сторону выходили мужские, на левую женские.

Брусов взглядом изучал озеро, иногда пристально всматриваясь в чаек или, может быть, в плавающих. Чаще его скользящий взгляд шел направо, а когда рядом с розовым брызгающим телом мальчика, похожим на обрубок, появилось выточенное мраморное тело фракийской статуи, когда белые руки юноши быстро и сильно опускались в воду и от этого выныривало тело до талии — Брусов не отводил с правой стороны своего взгляда...

XXIII.

За плоским озером закатывалось солнце — отчего половина озера была розовой, а деревья вдали синими, похожими на неестественную декорацию итальянской оперы.

Желтая коротенькая шляпка пристала к берегу, из нее бодро и смеясь выскочили двое юношей — один в синей матроской куртке, другой — гимназист.

— Я смертельно хочу есть, Тадик.

— Пойдемте к нам. Мама для вас спрятала от меня песочники.

— Привязал?

— Есть.

И они побежали на обрыв, беря его приступом. Из липовой беседки вышел Брусов:

— Вы, юноша, идите, а с вами, молодой человек, у меня конфиденциальный разговор в два слова.

— Я сейчас, Тадик, ты все приготовь мне, и песочников оставь. К вашим услугам, господин Брусов.

«Господин Брусов» было подчеркнуто, хотя Вадим отлично знал, что имя Брусова — Илья Дмитриевич.

— Войдемте сюда, господин Крамов, — посмотрел на него испытующе Брусов.

— Зачем так торжественно?

Вадим вошел в липовую беседку, но Брусов стоял молча у дверей, точно слова застыли.

— Я жду, это во-первых, а во-вторых — здесь духота.

Вадим снял куртку, оставшись в лодочной фуфайке, и уселся на стол. Брусов
. подсев рядом с Вадимом, фамильярно похлопал его по плечу.

.
.
.
.

— Существуют разные цены, но непродажных вещей нет.

— Вот как? — мучительно усмехнулся Вадим, но сейчас же его улыбка стала усмешливой. Из-под опущенных ресниц он следил за Брусовым. Брусов побледнел и шрам на лбу налился кровью
. . .

— Ну, а так как я коммерцией не интересуюсь, то пойду есть песочники

Вадим поднял свои насмешливые золотящиеся глаза. Его губы, детские, причудливо вырезанные губы танцующей Саломеи запеклись и Вадим слегка провел по ним концом розового языка.

— Я построю театр, где будет опера, и драма, и балет. Вы будете выступать в роли Себастьяна. Знаменитости напишут музыку, напишут сюжет, напишут декорации — все для вас. Вы любите славу — о вас будет говорить вся Россия. Ваши портреты будут во всех журналах, во всех витринах.

— Вы забыли Нижинского, у вас чужая фантазия
. Вспомните, Брусов, у солнца был сын, звали его Лель и все поклонялись ему, все слушали его песни
У электричества тоже есть сын, Брусов. Лель воскрес! Воскрес великий Лель! Выстройте ему храм. Молитесь
.

— Вы издеваетесь?

— Что вы, господин Брусов, разве я смею
Вы, конечно, знаете, что ваша дочь Вера Ильинишна любит меня. И, может быть, я отвечу ей, может быть

.
.
.
. Брусов чувствовал себя бессильным — остриженным Самсоном.

— Гадюка, — прошептал он.

— Это верно, у меня глаза гадюки, только вы не похожи на укротителя.

— Смотрите, я гляжу в ваши глаза, не отрываясь.

— Встаньте на колени, — вдруг просто и остро сказал Вадим

.
.

. Странно вымолвить. Финансовый гений, миллиардер. Капитал и ум в ногах Вадима Крамова. Да что такое Вадим Крамов? Может быть, у него приказчиья душа, мозг обезьяны и он — сплошная бездарь.

. А ведь этими руками — он взял руку Брусова, — вы, может быть, били таких красивых, как Адонис

.
— Только да или нет?

— Как было бы легко жить, если б жизнь всегда отвечала «да или нет». Вы получите ответ, Брусов, только поползите за мной на коленях несколько шагов. Слышите, на ко... ле... нях. Вас, конечно, могут увидеть с дач, Илью Брусова, ползущего на коленях за никому не нужным мальчишкой.

Но это мое условие

Перед выходом Вадим точно сжалился.

— Довольно Верю А мой ответ, — и, подойдя совсем близко к Илье, сказал со смеющейся улыбкой:

— Ждите.

XXIV.

Леля неделю жила только своей жизнью. Даже страдания матери, заболевшей после спектакля, ее не задели. Не могла Леля избавиться от зеленых глаз, целующих ее лицо, и от темно-розового рта, пугающего ее висок. Она уходила теперь за две версты в березовый лесок, ложилась на траву лицом вверх и смотрела за облаками, какой они формы, но иногда облака ее обманывали — вдруг принимали странную форму тела или само небо казалось похожим на озеро. Тогда Леля вспоминала вместе с озером отмель, а с отмелью отпечаток на песке. Леля вскакивала, подходила к большой березе, прислонялась к стволу и ласкала щекой холодную белую кору, но снова мучили слова.

— Мне не суждено разбудить ваше тело, ждите другого — вы любите ждать.

Виски Лели горели и она не могла лежать, а шла куда-нибудь.

И сегодня встала она и ушла смятенная и пришла нечаянно туда, впервые с тех пор, к отмели.

Мартыны ее не узнали и с криками разлетелись, а Леля искала, искала тот отпечаток, отпечаток его тела. Он давно стерся. Леле стало мучительно стыдно, она не боялась больше этого отпечатка, она хотела его видеть ясно. Сознав это, пошла назад. Из липовой беседки вышел кто-то, но Леля не заметила, прошла к своим березкам. Снова припала щекой. Ласково обняла ствол.

— Леля.

Она молчала, смотрела в его глаза своими очень большими глазами. Она ждала его.

Когда он обнял ее рукой, когда прижался снова ищущим красным, влюбленным ртом к ее губам, Леля ответила.

— О, если б не ответила, если б устояла...

Но облака бежали барашками и кровь недавнего триумфа была в виски Вадима, и Леля, тихая Леля с лиловыми от солнца глазами, была влюбленной и нежной.

— Я влюблен, я влюблен, — думал Вадим и говорил:

— Я люблю тебя, Леля.

— Ты не обманываешь? Ты любишь? — заглянула в лицо Леля и, отдав ему свои руки, сказала:

— Тебе — я верю.

Недалеко от берез стояла вышедшая из своего номера Дора Марковна. Она снова вернулась в номер и написала какое-то письмо.

В той купальне, где купался всегда Вадим — была находка. В десять часов вечера купальный сторож наткнулся на женщину, висящую на полотенце, привязанном к душе.

На полотенце был вензель — В. К. — его забыл Вадим в купальне, а висящей женщиной оказалась Дора Марковна Блюмкопф.

XXV.

. *

XXVI.

Неделю была счастлива Леля и Вадим был счастлив. Такие у них стали глаза, как у детей в елку, хотя хоронили Дору, хотя докторше было плохо. А они вдвоем, к огорчению Тадика, часто катались далеко, далеко по озеру и на отмели мечтали и бродили среди березок.

* Глава XXV выпущена по условиям цензуры.

Вадим ждал в приемной у доктора Волкова в тот день минут двадцать и удивлялся неаккуратности аккуратнейшего Платона Александрыча.

Утром с почты принесли доктору лиловое женское письмо — штемпель — Екатеринослав. Он удивился, распечатал и его глаза совсем округлели. Внизу стояло:

— Дора Блюмкопф.

Прежде, чем начать читать, он долго вертел письмо, думая:

— Умерла и написала, умерла и написала.

— «Через неделю после моей смерти вы получите это — сестра перешлет из Екатеринослава. Милый друг, я хочу рассказать вам причину моей смерти...»

Когда доктор читал дальше — он плакал, потом с волнением ходил по кабинету, что-то шептал, грозил, махал кулаками. Потом, побледнев так, что лицо его стало чужим, наполнил у шкафчика два шприца разными жидкостями, одна была желтее другой, — и открыл прием.

Первым вошел Вадим Крамов. Развязно и быстро он снял рубашку и подставил выпуклое плечо доктору.

— Я очень тороплюсь, доктор, мы едем кататься на парусах.

— С кем?

— С Лелей. Почему это вы спросили?

— Да так. . . . с Аленой, значит?

— Вы сегодня какой-то странный, доктор.

Доктор в это время на окне выбирал шприцы, протягивая то к тому, то к другому руку —

— Странный? Да-а? Вы находите? — засмеялся нехорошим, неестественным смехом доктор.

— Конечно. Э, да у вас сиреневый конверт. Кто бы подумал?

Доктор решительно взял шприц пожелтее и подошел. Вадим беспечно подставил лопатку.

— Скажите, Вадим Николаевич, почему вы не женитесь?

— Почему? Я никогда не женюсь, милый доктор. Зачем связывать. Любить, покуда любитесь — старая теория. Еще эта наивная Кармен пела:

Любовь — птица и неручная
И приручить ее нельзя.

Когда я стану старым и уродом, я, наверное, женюсь, а пока ни за какие миллионы. Разве Лель может стать мужем?

— Вот как?... У вас шутливое настроение.

— Колите же, доктор.

Доктор проколол кожу шприцем, но почему-то рука дрогнула и шприц воткнулся не в намеченную точку.

— А.... Как больно. Попали в сосуд? Теперь будет синяк, — сказал Вадим, повернув профиль к доктору. — Что с вами, доктор? Вам плохо?

— Нет, я сейчас... сейчас... нажму шприц, — задыхаясь, заикался доктор, но Вадим уже отпрянул и шприц, повиснув в коже, выпал со звоном. Жидкие реснички доктора дрожали, дрожали руки, согнутые в локтях, а глаза были совсем белесые и застывшие.

Доктор вдруг присел на пол, затрясся от рыданий, плача по-бабьи.

— Что вы хотели сделать?

Доктор показал на письмо, Вадим брезгливо прочел.

— Дальше?

— Я хотел...

— Как? — белый и непонимающий, стоял Вадим. — Меня?... За то, что мы были счастливы с Лелей неделю, отдав себя друг другу? Меня? Убить мое тело?... Убить мое тело?... Кошунство.

В тот же день Вадим уехал с курорта. На вокзале была одна Леля.

— Ты приедешь, милая?

— Жди, жди меня, Вадим. Не обманывай меня, Вадим.

И когда вагон дернулся и Лелина махающая рука постепенно исчезла, Вадим думал:

— Да, конечно, я влюблен, влюблен, как никогда.

Входя в двухместное международное купе, он заметил свою соседку, даму в муаровом костюме с подкрашенными губами и, опустив глаза, принял позу.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

I.

Киноактриса Смурская, ехавшая с Вадимом, увлеклась им. Он понял, что влюбленность в Лелю, хрупкую, неподкрашенную Лелю — это наивная иллюзия, но уже актрисе он сказал, что его провожала невеста. Ему нравилось играть в невесту и жениха. Ему нравилось покупать мебель и безделушки и ждать приезда невесты. Он знал, что мужем своей невесты не станет никогда.

И когда Леля в милом дорожном костюме приехала прямо к нему и вошла в комнату с ситцевыми портьерами и кретоновой мебелью — все милое, нежное, белое с сиренью — Вадим был счастлив и так ласково наливал Леле кофе из нового кофейника и предлагал кекс.

Ему нравилось возвращаться домой, зная, что его ждут с тартинками, кофе и ласковыми губами.

Через две недели их счастье впервые было нарушено. Внезапно к Леле на новоселье приехала докторша. Комната ей понравилась, но на столе она нашла мужской воротничок № 36 и Лели не было в комнате. Она позвонила горничной.

— Вы сказали, барышня дома? Где же она?

— Она, верно, в соседней комнате у Вадим Николаевича.

— Крамова?

— Вот именно. Да вы постучите им.

— Нет, я подожду.

— Как угодно, только, может, они долго, — и ушла.

— Ничего. Так и должно быть. Так и должно быть...

Докторша, спотыкаясь, как ослепшая, вышла тоже.

— Кто был, Дуня? Кто?

— Дама.

— Седая?

— Да они — старушка.

— В зеленом костюме?

— Вот именно, в зеленом, хотя может и бордовом.

— Это была мама.

— Ну, что ж?

Леля беспомощно подняла глаза на Вадима:

— Она все узнала.

— Дуня, уйдите. Нечего скрывать — если любишь.

— Да, да, конечно.

Леля не удержалась и заплакала.

— Терпеть не могу — слез, — сказал Вадим <и> вышел, захлопнув дверь.

Леля еще долго плакала.

II.

Докторша уехала неизвестно куда.

— Уезжаю, не ищите. Не могу... — было все, что она написала. Доктор, как птица, у которой убили самку, страдал молчаливо и скорбно. Ходил по дому, опустевшему, как осеннее гнездо.

Он ничего не знал, но чувствовал многое.

Леля все чаще плакала. Все позднее возвращался Вадим. Часто совсем не ночевал и, ожидая его, Леля просиживала до шести утра.

Он позировал художнице Марк, играл со Смурской для кино и ездил в клубы и кабаре.

Стало не хватать денег. Вадим все свое тратил и Лелино тоже.

— Если у женщины беру душу, беру даже тело, то почему же не взять самое дешевое — деньги?

Она отдавала с радостью. Быть полезной Вадиму, разве не счастье?

III.

Леся худела с каждым днем. Ее плечи стали острыми и немного согнулись, руки побледнели, как восковые, и лиловые круги появились у глаз.

Она ждала Вадима и точно боялась сказать ему что-то бывшее у нее на губах, — так робок был ее взгляд и ее губы.

Сегодня Вадим опоздал к обеду, хотя обещал не опоздать, вернулся в семь — чтоб сменить визитку на фрак.

— Я тороплюсь, — мельком сказал он.

— Мне нужно многое сказать тебе, Вадим, — грустно говорила Леся, теребя портьеру.

— Да? — посмотрел он из-за плеча.

Он стоял у трюмо и пудрил лицо.

— Да какая ты бледненькая, впору и за косметику приняться. Может быть, Леся, я вернусь из балета...

— Вадим, милый, — Леся обняла его за плечи, — не ходи сегодня, не ходи...

— Что ты? Я сегодня в ложе Брусовой.

— Вадим, Вадим, — понурилась Леся, — столько нужно сказать...

— Хорошо, я постараюсь вернуться, — сказал Вадим, — ну, прощай, моя бледненькая дурнушка, — ловко на ходу поцеловал ее и проворно ушел.

Леся долго еще стояла с опущенными глазами, а потом быстро подошла к трюмо и впилась в себя взглядом.

— Бледненькая дурнушка, бледненькая дурнушка...

Она повертывалась профилем, она изучала себя и, быстро накинув черный полушубок, наколов маленькую шапочку с фиалками, она пошла.

— Ах, да... — вспомнила она и, спешно вернувшись, вытащила из-за лифа заветные пятьдесят рублей.

— Катя, вот деньги, список. Все должно быть готово. Через час я приду.

Леся проехала на Арбат к Гюставу. Она помнила только одну парикмахерскую.

Сразу смутилась и, когда руки служителя старательно снимали шубку, она покраснела совсем.

Какая-то женщина с бровями дугой сидела в кресле и парикмахер умело подкалывал рыжую наколку в крашенные волосы.

— Ваша очередь, мадмазель. Что прикажете?

— Причешите меня.

— Фасон?

— Ах, как хотите. Как хотите... Модно причешите. Вот как ту даму.

— Что вы, мадмазель?.. Это будет даже безвкусно, потому что а ля гамен — это к рыжим идет, то есть к палевым, а вы — пепельная шатенка — близкая к блондинке, еще бы посветлее и был бы настоящий цвет а ля Клео де Мерод. У вас слишком густы волосы, мадмазель, чтоб создать что-нибудь эффектное. Вы прикажите такое, знаете, шампань а ля Кармен и височки подстричь...

— Делайте, что хотите, я должна быть модной.

— Слушаю-с.

Лелины волосы, чудесную волну волос, мазали, терли, жгли и тянули, в нее втыкали десятки крупных и мелких шпилек и когда через три четверти часа совершенно измученная Леля, услышав окрик — «окончательно, сударыня», — посмотрела в зеркало — она увидела желтое истерзанное лицо с башней из слишком густых волос, с торчащим выпуклым лбом и двумя запятыми, украшающими виски.

Ей хотелось плакать от физической пытки и от этого безобразного лица из зеркала.

— Нарумяньте меня.

— Что-с?

— Нарумяньте меня, только сильнее, и глаза, и глаза тоже, и брови...

Из шкафчика появились баночки.

Леля закрыла глаза. Она чувствовала сладкий запах потных парикмахерских пальцев, трогающих ее уши, ее шею, ее глаза.

Она только говорила:

— Сильнее, сильнее.

Когда она снова взглянула на себя — она увидала манекен из витрин «салона шляп».

Глаза остановившиеся и чересчур большие из-под черной бахромы намазанных ресниц и восковое лицо с нелепыми пятнами румянца, и губы, сверкавшие, как отлакированные ногти. Она заплатила ухмылявшемуся парикмахеру и поспешно робко вышла.

IV.

Почему это мужчины оборачиваются? Почему ей кинул несколько слов рыжий усач, а толстый в котелке пошел сзади?

Леля не понимала.

Какой-то лицеист с подстриженными усиками сказал:

— Здравствуй.

Она робко подняла на него глаза и пошла быстрее. Но он не отстал. Он сразу пошел, сразу взял под руку и спросил:

— Ты где живешь?

Леля испуганно метнулась, бросилась к извозчику и крикнула:

— Скорее на Кисловку.

Лицейст успел сесть рядом и повторил спокойно:

— Пшел на Кисловку.

— Уходите, или я позову городского... — взволнованно сказала Леля, красная от румян и негодования.

— Что такое? Я тебе не советую шутить с полицией.

Лел было все равно — она устала. Кажется, шел снег, кажется, лицеист сжимал ее талию и целовал ее губы, ее виски на улице.

Он нагло глядел в глаза и говорил:

— Ты великолепна, душечка, прямо по-французски. Невинность взгляда подкрашенных глаз — это мало кто умеет — это шарм. Кто узнает грех, навек теряет детское выражение. А это негодование. Чудесно.

Когда извозчик остановился, Леля спешно выпрыгнула и исчезла в подъезде.

— Иван, прогоните этого негодяя, он пристал ко мне, — бросила она швейцару.

Швейцар с солидной грудью в медалях захлопнул перед лицеистом двери.

— Вы не шляйтесь по приличным домам, сударь. Здесь вам таких дам не обитает.

Лицеист, потрясенный швейцарским окриком, стоял под снегом перед запертой дверью и говорил:

— Какая наглость, черт знает, что такое... Я же за извозчика заплатил и меня же выгнали.

V.

Вадим был удивлен, когда вернулся, проводив Брусову.

Маленькая столовая имела торжественный вид от стола с фруктами, закусками и вином.

Красная гвоздика стояла в трех вазах, вместе с розами цвета слоновой кости.

В комнат пахло свежими розами и духами «Карилописис».

В это время дверь отворилась и вошла женщина в сиреновом халатике, с сильно обнаженной грудью, в модной прическе, очень румяная.

Огромные глаза манекена смотрели зазывающе и жалко.

— Леля, — остановился Вадим, — Леля, это ты? — и подошел ближе, она взяла его руку и нежно потянулась к нему.

— Это для тебя.

— Ты нарумянена... Какая гадость.

Вадим брезгливо вырвал руку.

Леля посмотрела снизу вверх и заплакала громко и безудержно, как двенадцатилетняя.

Вадиму стало жаль ее и он обнял вздрагивающие тонкие плечи.

— Маленькая, зачем ты это сделала?

— Ты же так... любишь... косметику, — несколько успокоившись, всхлипывала Леля. — Я хотела быть немного похожей на тех, с кем ты проводишь вечера.

— Маленькая... — растрогавшись, шепнул Вадим и стирал платком ее слезы вместе с румянами, потом он начал нежно вытаскивать шпильки:

— Шестьдесят, шестьдесят одна... шестьдесят пять... шестьдесят семь... — считал он, — шестьдесят семь шпилек, ах, глупенькая, маленькая.

Он притянул к себе Лелю и поцеловал ее подстриженные виски.

Вадим давно не был так ласков, и Леля вся расцвела радостью тихой и счастливой.

С блестящими от рыданий глазами, с распущенными волосами, с лицом, на котором розовели остатки румян и слез, она была маленькой Раутенделейн, и мило щебетала, и смеялась, беззаботно целуя темно-зеленые изумруды, сегодня снова зажженные влюбленностью.

При свете уличного фонаря через голубую занавеску, изнеженная Вадимовыми ласками, она, робко прижавшись, шепнула ему:

— Вадим, ты спишь?

— Нет, маленькая.

— Вадим, я давно хотела тебе сказать, но не могла... Вадим, — было не видно в темноте, но она все-таки отвела глаза, — ... у меня будет ребенок.

— Этого не может быть!

Вадим сел на постели и схватил ее плечи.

— Нет, Вадим, я знаю уже три месяца.

— И ты... ничего не сделала? — в ужасе кричал Вадим, — ты не уничтожила его?...

— Что ты? — испуганно схватила она его руку, — твоего ребенка?..

— Ах, не все ли равно чей? Какая пошлость, пошлость!..

— Но ведь это кусок тебя, Вадим, твоего тела.

— Все равно, ты должна его уничтожить, — его голос был как удары хлыста и он щелкнул электричеством.

Белый резкий свет озарил девушку, сидящую на кровати и мужчину, похожего на жокея, так злобен был его на нее направленный взгляд.

— Я его не убью, никогда не убью, — твердо сказала девушка, закусив зубами прядь распущенных волос.

— Вот как? Ну, знай, пока он не будет уничтожен, меня ты не увидишь.

Медленная пытка была для Лели смотреть, как он одевается. Каждая секунда отдаляла его, каждая приближала мгновение разлуки. Точно нарочно, чтобы увеличить пытку, Вадим одевался аккуратно и неспешно, долго искал запонки, долго завязывал галстук — черный с лиловым.

Леля выдержала, <но> когда Вадим, застегнув пуговицы перчаток и поправив шляпу перед зеркалом, вышел, она пошатнулась, протянула руку за ним.

VI.

Вадим переехал в студию художницы Марк. Он не отвечал на письма Лели, а на телефонный звонок говорил:

— Вы исполнили?

Леля однажды выждала его у выхода из студии и подошла к нему.

— Между нами не может быть ничего общего, — сказал Вадим, окидывая с ужасом ее изуродованную фигуру.

Не умевшая Вадиму прекословить, Леля теперь откуда-то черпала силы и только повторяла одну фразу:

— Нет, убить его — я не могу...

Леся бедствовала, отца вызвать было нельзя, он мог узнать слишком много. Отцу она написала, что уезжает в Киев.

Часто утрами стояла она там, у ворот студии, и ждала, прячась за фонарь, не смея показаться, только бы увидеть издали того, кого любила.

Увидала его в первый раз вместе с Марк. Марк была рыжая женщина с челкой, с косящими глазами, сухая, страстная. И манеры парижской торговки.

Когда увидела Леся лицо прильнувшей к Вадиму женщины, когда поймала она нежный взгляд Вадима, направленный в глаза Марк, она отвернулась от боли.

Пришла домой в ту комнату, где жил когда-то он, глядела на его вещи, которые хранили еще его прикосновения, на зеркало, где еще жило его отражение, и думала о тех вещах, которые он трогает теперь и о его глазах, которые направлены в глаза Марк. Она подошла к комоду, вынула давно приготовленную аптечную бутылку с желтым этикетом и, открыв бутылку, глотнула.

Рот Лели запылал нестерпимой болью и горло ею наполнилось. Леся подбежала к окну и прямо из кувшина начала глотать молоко.

Вскрикивая, корчась, она говорила громко:

— Убить себя, убить его?.. Убить двух? А я хочу жить... Вадим может смотреть и мне в глаза... Вадим вернется. Я хочу жить... Убить себя, убить его... Нет, нет... Вадим, Вадим...

Вадим лежал посередине студии на шкуре белого медведя, нагой. Он отдыхал в антракте сеанса. Шкура была цвета льда и в ее оправе сверкало жемчужное тело. Вадим голыми руками обнимал задумчиво голову медведя и ему казалось, что все это только повторенье, что все это он недавно когда-то переживал. Он ясно это чувствовал, только какое-то имя хотел вспомнить и вдруг сказал:

— Адриан, Адриан.

Горничная внесла конверт. Ей было, вероятно, привычно, потому что она без смущенья подошла к голому Вадиму, протянув письмо. Вадим обрадовался мелким нервным буквам. Марк оскорбляла его своей грубой пресыщенностью.

— «Вадим, я все исполнила, приди».

Как нервен был почерк, точно в вагоне написано, в тряском вагоне.

VII.

Грязная лестница. Темно. Пахнет пеленками и кошками. Сами кошки шныряют под ногами, воя и фыркая.

Вадим позвонил.

— Волкова? Номер седьмой. Сюда пройдите, — сказала басом женщина в засаленной респускной блузе.

Он прошел.

В крошечной комнате стояли почти вплотную три кровати. Три женщины лежали. Одна все время стонала и дергала коленями под серым одеялом с синими поперечинами, вторая — купеческая дочка, рыхлая, белесая, как опара, с сонными глазами, заплывшими жиром, с ртом-подушкой, плоско улыбалась скучающим равнодушным взглядом, а рядом корчился и орал сине-красный комок. Посредине на заношенной подушке лежала восковая желто-зеленоватая фигура. Руки были на одеяле, угловатые и мертвые, а огромные глаза в лиловых кругах не понимали, что делается кругом. Все лицо было туго обтянуто тонкой, потемневшей кожей и кости остро выступали.

Непонимающие глаза странно блеснули.

— Вадим, Вадим...

— Леля?.. — остолбенел Вадим перед восковой женщиной.

— Я ждала, я знала, что ты придешь. Все ждала. Меня спрашивали: — Да где же ваш милый, девица номер седь-

мой? Я говорю — милый придет. И пришел... Дай руку.

В холеную сильную белую руку Вадима легла ее рука. Узловатая, с потемневшими ногтями и влажная.

— Как жаба, — подумал Вадим.

— Пришел милый девицы номер седьмой... Слышите, милый пришел. Я исполнила, милый. Я его убила... Поцелуй меня....

Вадим пересилил себя и наклонился к ее рту. Но от нее так скверно пахло и белье было такое несвежее, что Вадим отшатнулся. Грязная, блеклая лежала Леля, глядела на него огромными глазами в лиловых кругах.

— Что ж, так и не поцелуешь, милый? Ну, наклонись.

Он вспомнил галку с перешибленной ногой, на минуту ему стало трогательно, он снова наклонился и отпрянул опять, запах разложения был в ее дыхании, в запахе ее тела, а руки ее были противно влажны.

Его горло сжалось спазмами от тошноты. Вадим вышел, не поцеловав ее.

Кричал с надрывом ребенок купеческой дочки, и Леля шептала:

— Приходи завтра, милый, и опять будешь целовать. Я жду тебя, жду тебя.

А Вадим давно выбежал на улицу, обтирая руку платком.

— Противно, противно...

VIII.

Вадим, принявший сейчас ванну, отчего бодрый и счастливый, кривыми щипчиками совершал педикюр на кушетке из темно-зеленого бархата. На нем был утренний костюм цвета старого зеркала и волосы его, еще не подвитые, беспорядочно-красиво лежали вокруг незапятнанного морщинами лба. Огромный туалет с мраморной доской был заставлен флаконами из хрусталя с серебряными пробками и щетками.

Вадим за год не постарел. Он с гордостью изучал, рассматривал себя в ручное зеркало, оправленное слоновой костью и серебром, с гордостью изучал свое лицо, — он только похудел немного, стал еще гармоничнее, а глаза его приобрели какой-то детский оттенок, оттенок любопытства и нетронутости.

Он подошел к трехстворному зеркалу, скинув халат, любовался своей кожей, прохладной и матовой, сгибая и отбрасывая руки, старался навсегда в глазах и в зеркале оставить этот образ — эту гармонию линий, которая была, как поэзия, как ожившая мраморная фантазия.

— Войдите, — недовольно сказал он, запахивая поспешно халат. — Что вам, Маша?

Кто-то странно закашлял сзади, Вадим мгновенно и испуганно повернулся, почувствовав нехорошо на своей спине чей-то мертвый взгляд.

Доктор Волков, несмотря на зиму, в длинном засаленном чесучовом пиджаке, стоял перед ним с согнутыми в локтях руками.

— Вы, Платон Александрович? — сказал почти спокойно он, — сколько лет, сколько зим.

— Не кривляйся со мной. Будет... — сурово поднял лицо доктор и Вадим отпрянул — совершенно белые и мертвые были эти глаза в красной раме воспаленных век, глаза, опшпаренные кипятком, как глаза вареной рыбы.

— Ты, ты должен жениться. Понимаешь?... Жениться на ней, слышишь?

— Жениться, связать себя навсегда? — иронически проговаривал Вадим, но губы его трусливо дрожали.

Доктор сделал шаг вперед и перед лицом Вадима стояли опшпаренные глаза и скрюченные руки были у его горла.

— Молчи, гадина...

Вадим чувствовал, что еще мгновение и сведенные пальцы вопьются в его шею, чувствовал в белых глазах смерть неминуемую. Что-то острое укололо мозг и он естественно и весело засмеялся.

— Конечно, я женюсь на Леле, ведь я ее люблю.

Доктор, потрясенный этой неожиданностью, потрясенный естественностью смеха, сразу сжался, опустился, робко по-собачьи взглянул на Вадима и, напуганный своим порывом, пробормотал:

— Женитесь? Правда, женитесь?

Вадим, еще трусивший, говорил, мило улыбаясь:

— Я же люблю ее...

Доктор поспешно схватил его руку, прижался к ней и у плеча Вадима зарыдал беспомощно и судорожно. Вадим отстранялся брезгливо, а когда доктор успокоился, лицо Вадима снова естественно улыбалось.

Доктор ушел разбитый и счастливый.

Только что хлопнул американский замок двери, как Вадим сказал горничной:

— Маруся, сегодня я уезжаю отсюда. Адреса я вам не оставляю. Вещи соберите скорее.

IX.

Надев на смокинг черное широкое бальное пальто, Вадим окинул себя последний раз в зеркале. Он начал натягивать на левую руку перчатку из светло-желтой замши и вдруг быстро сорвал ее с руки и опустился тяжело в кресло. Глаза его стали печальными и тяжелыми.

— Иначе, иначе как-то нужно жить... — почти сказал Вадим, разрывая замшу в клочки, он точно он нее требовал ответа.

Когда позвонили, Вадим сам отворил... Вошел сморщенный старичок в крылатке — доктор Волков. Голова его тряслась и руки дрожали.

— Леля...

— Что Леля? — отшатнулся от него Вадим.

— Леля... умерла... от заражения крови...

— Да?... — спросил Вадим и ему показалось, что это его очень расстроило и, озираясь с опаской на доктора, он сказал:

— Завтра вы все расскажете, доктор... а сегодня, нет, сегодня не нужно... нет...

Вадим ехал в авто, и представил он ее огромные глаза и желтые мертвые руки на сером одеяле с синими поперечинами, а потом противный запах ее дыхания.

В Большом давали «Травиату».

Вадим сидел в бельэтаже с модной певицей, в два года ставшей знаменитостью, больше через хороших друзей, чем через талант. Она улыбалась ему всем своим расплывшимся от ранней полноты (о, горькая участь драматических сопрано!) очень молодым лицом в усиках и жала его руку под прикрытием веера.

Но Вадим не отвечал.

Во втором ряду сидел худой костлявый старик, не сводящий глаз с ложи Вадима. От старика сильно пахло эфиром. Это был Брусов.

Вадим окинул испытующим взглядом ложи и побледнел.

В Москве он не был столь заметным, как на курорте, в Москве таких было много, и сейчас в бельэтаже он разглядел красавца-брюнета, а в бенуаре красавца-шатена. И всех одинаково жадно лорнировали дамы лож и партера, а курсистки с верхов рассматривали в бинокли.

В то время, как Вадим под дождем этих взглядов поднимал и опускал на изумрудные глаза темно-золотые ресницы, шатен выставил прекрасные, нежные точеные руки с крупными алмазами, а брюнет глядел, не мигая, загадочными синими глазами Людвига Баварского.

Травиата умирала, проделывая посмертные рулады, и Альфред у ее ног старался взять до.

— Как трогательно... — шепнул Вадим, склонясь к своей даме, и в его глазах стояли слезы, но нечаянно он встретил растроганный взгляд загадочных синих глаз брюнета

из бельэтажа, а опустив глаза в бенуар, Вадим увидел тронутое лицо шатена, сгоняющего слезинки прекрасной рукой в крупных алмазах.

Москва.

СТУДЕНТЫ СТОЛИЦЫ

(1916)

В. КОРОЛЕВИЧЪ.



**СТУДЕНТЫ
СТОЛИЦЫ.**

К-во „НАУКА и ТРУДЪ“. Москва.

БАРЫШНИ ИЗ ДОМА СУББОТИНЫХ

Куда, куда мне склониться
И кому, кому сказать,
Что все лица, все лица, все лица,
Отразили ужасную печать.

(Рюрик Ивнев «Самосожжение II»).

Анне Данилович.

I.

Дом Субботиных почти в целый квартал тянется огромный, облупленный, с темными, как глаза скелета, окнами, с Петровки на Неглинный. В нем множество дверей и люди мелькают в них не переставая, а на крышах сараев всегда дерутся и кричат взъерошенные кошки.

Было жарко. Городская пыль, похожая на копоть, делала белое платье Мэри — седым. Мэри устало волочила за собой тоненький зонтик, волосы развились, лицо было красное. Увидав у ворот целую вывеску зеленых билетиков «сдается комната», Мэри радостно переписала номера квартир в записную книжку.

Первая комната была нарядная, с нишей, в которой стояла уютная кровать. Хозяйка, молоденькая дама с бойким лицом, дав Мэри насладиться осмотром, сказала:

- Вы кто же? Чем занимаетесь? Курсистка?
- Да, на филологических, я уже на втором курсе.
- А по вечерам вы бываете дома?
- Иногда, — у меня занятия днем.
- Я не знаю только, подойдет ли вам цена, мадамзель?
- А сколько стоит?

Хозяйка хорошо, просто рассмеялась:

— Собственно, я сдаю ее бесплатно. У нас будут общие знакомые, и ваш вечерний досуг будет принадлежать мне. Согласны?

Мэри молчала, еще не сообразив, но чувствуя что-то нехорошее, потом покраснела так, что слезы появились.

— Разве я похожа на такую женщину?

Хозяйка опять рассмеялась, только теперь насмешливо.

— Я вам ничего такого не предлагаю.

Мэри вышла под хохот хозяйки, потрясенная, и позволила напротив. Хозяйка выбежала за ней и едко закричала:

— Не воображайте, что вас в ту квартиру пустят. Ведь что гулящая девица. что курсистка — какая разница? Пойдете в электричку, а вернетесь с кавалером.

В квартиру господина Черепа Мэри попала в слезах. Сам господин Череп был галантен, шаркал ножкой, приниженно улыбался. его лысый лоб был прикрыт паричком.

Мэри осмотрела сегодня уже четырнадцать комнат, разморенная, она села в кресло и на вкрадчивый лепет хозяйки говорила только:

— Да, да.

— Гардероба нет, но вот имитацион из деревянного картона, — он показал Мэри картонный шкаф, выкрашенный под дерево.

В тот же вечер Мэри переехала на квартиру господина Черепа.

Переехав, она обнаружила, что в ее комнате нет форточки и печки, и одна стена картонная, она тоже была «имитацион», и обои очень искусно сделали ее похожей на остальные. Господин Череп был столяр по профессии, — и из своих шести комнат сделал двенадцать.

Вечером Мэри открыла окно, оно выходило на небольшой пруд с бульварчиком. Там плавали два пропыленных лебедя и визгливо хохотали женщины. Все-таки от пруда и от зелени в душе Мэри стало легче. Она вытащила из раскрытого чемоданчика лекции по новой истории, по пути захватив несколько милых фотографий, и села на подоконник. От карточек настроение стало ласковое и даже невз-

годы за день испарились. Сердцу было легко, хотелось работать, работать... Мэри смотрела на пруд и качала ногой.

Завтра начну готовиться к экзаменам. Что такое печка, форточка, «имитацион», если жизнь — такая прелесть.

Утром Мэри съездила на курсы записаться на экзамены, а потом заехала в адресный стол. Когда ее вызвала желтая, злая барышня и передала ей открытку, Мэри прочла:

«Кирилл Андреевич Усольцев, студент. Выехал 16-го июля, Гурзуф».

— Гурзуф, Гурзуф, — думала Мэри, а в душе стало пусто. — Зачем существует Гурзуф, зачем летом ездить в Крым?

Когда Мэри вернулась домой, она легла грудью на диван и лежала так с тусклыми глазами, не шевелясь. Готовиться она не начала.

II.

Квартира господина Черепа оживала. Появились новые жильцы. Две лучшие комнаты сняла какая-то молодая дама со своей мебелью. Целые полчаса вносили пуфы, этажерочки, сундуки и даже граммофон. Наконец появилась сама обладательница мебели. На ней было каракулевое манто, большая шляпа из черного бархата, а в руках канарейка.

Мэри бродила уныло по квартире; вместо пяти экзаменов она сдала два, а на ее телефон из Гурзуфа не пришло ответа. Знакомых еще не было, а в кино пристал один с пятью золотыми зубами и Мэри туда больше не ходила. Сегодня небо было серое, серое, и дождь шел скользкими нитками. От дождя вся душа как серая шкурка. Ах, какое было дело Мэри сегодня до католицизма, до религии, — и она бросила историю Лютера за диван.

— Хоть бы поговорить с кем?

Как назло, горничная ушла и совсем не кем поговорить.

— У дамы в каракуле, наверное, есть книги, на вид она милая, — и, обрадовавшись возможности живого разговора, Мэри, немного подпрыгивая, что не шло к ее высокой фигуре, побежала к даме. Перед дверью остановилась — пойти или нет? Неудобно... — и постучала.

— Кто там? — испуганно закричала дама, выглянув в двери.

— Я ваша соседка, живу через две комнаты.

— Ах, войдите, войдите.

На даме был пеньюар в розовых горошках, приветливый, как она сама. Мэри совсем сконфузилась.

— Я, собственно, на одну секунду. Познакомимся — Мэри Нарбут.

— Я очень рада, барышня, — радушно и конфузливо жала руку дама. — Меня звать — Мария Ниловна.

— Марья Ниловна, нет ли у вас какой-нибудь книги почитать?

— Книги? — задумалась Марья Ниловна, — знаете, есть даже две книги. Я сейчас достану.

— Я думала, они у вас близко, простите...

— Нет, нет, я сейчас. — Марья Ниловна, выбрав ключ на связке, открыла самый большой сундук. Она долго рылась в чем-то зимнем, вынимала какие-то вещи. Наконец, достала пожелтелые книги, от которых пахло нафталином — «Воскресенье» и роман Понсон дю Терайля «Кровавый голубь». Мэри взяла книги и пошла к себе. Она придвинула кресло к окну, села на него с ногами и начала читать. Не читалось, — строчки были, как черные полосы.

— Все то же, все то же, — слышала Мэри, это часы тикали за стеной в Череповой комнате. Она поднялась на коленях к окну. Пруд был серый и деревья жалкие, полысевшие от осени и в мокром осеннем дожде.

Когда Марья Ниловна, постучав, вошла в комнату Мэри, она увидела у окна в сумерках хмурую фигурку и сказала:

— Не хотите ли вы со мной чай пить?

— Чай пить, чай пить... — и Мэри вдруг зарыдала тихонько, осторожно, печально.

— Что с вами, Мария Евгениевна?

— Не подходите ко мне, я не хочу... не подходите.

Марья Ниловна подошла, присела на кресле рядом с Мэри и обняла ее за плечи.

— Вы мне скажите и полегчает. У меня в прошлом году серьги украли — я так плакала.

Мэри от уютного, как чай с молоком, голоса совсем расплакалась и припала к плечу Марьи Ниловны.

— Мне так скучно, так скучно... Я не знаю, почему так скучно?

— Вас, может, мужчина какой обидел?

— Нет, нет, просто на душе нехорошо.

— Вы мужчинам не верьте, они все на один лад.

— Нет, это неправильно.

— Вы, верно, из провинции?

— Нет, я из Петрограда. Я их много видала, очень много. Еще в прошлом году думала, как вы, а потом нет, нет... Нельзя быть пессимисткой. Я встретила совсем иного человека.

— Ну, если один другой, чем все — значит, вы влюбились. Когда влюбишься, то и кривой глаз кажется очень прекрасным.

— Нет, я совсем не простушка, у меня масса была поклонников в Вильне, в дивизионе отца двенадцать офицеров были моими пажами. Меня так и звали — принцесса о двенадцати пажах, — и когда кто-нибудь из них женился — я выбирала нового.

— А вы говорили, что вы жили в столице?

— У отца я только год жила, раньше я была в пансионе при гимназии в Петрограде. Знаете, — засмеялась Мэри, — нас водили в кругленьких беретах, а вечером запирали дортуар, и мы вылезали в окно по веревке. Правда, романтично? Меня обычно ждал Шурка Вальцев — студент, он мне читал Бокля.

— Неужели всю ночь читали?

— Нет, нет, через полчаса Бокля в сторону, а потом мы читали Прево или философствовали, он меня развивал.

— У вас лицо совсем невинной.

— О, конечно, я совсем невинна, — ведь я столько читала. Это какая-нибудь провинциалка может попасться на удочку. Мы тогда с Шуркой зачитывались «Demi-Vierges». Вы читали?

— Что это? Да, читала, — покраснела Марья Ниловна и отвела свои глаза, похожие на две черные бусы.

— Вообще у нас в классе у каждой было не меньше десяти юнг, — мы звали их юнгами, — больше были студенты.

— А почему вы от отца уехали?

— Затосковала. Эти офицеры все на один лад и я наизусть знала, как какой будет жать руку, шептаться, потом поцелует и непременно в темноте, точно поцелуй — преследование. Потом, у отца холостая жизнь.

— Мама ваша давно умерла? — боязливо, чтоб не сделать больно, спросила Марья Ниловна.

— Нет, мать за границей, с мужем. Меня потянуло в столицу, я так соскучилась без толпы, без театра, без этого тумана. Я приехала к тетке, знаете, пожуировать немного, повыезжать, а вот попала на курсы... А все Кирка... — лицо Мэри, за минуту еще совсем деловое, стало печальным.

— Кто эта Кирка? Курсистка?

— Нет, нет, — засмеялась Мэри, — это мужчина, Кирилл. Знаете, он совсем не такой, как все, он никогда не смотрит жадно на женщину, он — мечтатель.

— Таких не бывает.

— Как не бывает, — обиделась Мэри, — я говорю вам — он особенный, у него вообще все общественные дела и поэзия, он филолог. А его стихи — такие нежные, правда, в них рифма плохая. размеры тоже, но столько нежности, у него совсем особенный голос.

— А в отношении наружности — красив?

— Не-ет, — огорченно произнесла Мэри, — но руки у него похожи на ирис. Я к нему ничего не чувствовала, как к мужчине, право, будто это подруга, а не юнга.

— А он, наверное, был влюблен?

— Что вы? Кирка?... Кирка влюблен в землячество и в Александра Блока.

Тоску Мэри как рукой сняло и она казалась совсем девочкой. Марья Ниловна еще ласкала тихонько ее плечо и сказала:

— А теперь пойдете чай пить.

— Идете, — вскочила Мэри и, схватив обе руки Мары Ниловны, подняла ее со стула.

— А на курсах интересно?

— Очень. Весной я писала для семинария «О Лермонтове». Профессор сказал, что у меня способности. Правда, мысль Киркина, но она совсем простая. «Демон» Врубеля — это весь Лермонтов. Стремится в огромном порыве в высь, а глаза тоскуют по земле. Стремиться в высь и тосковать по земле... Вам нравится Врубель?

— А кто этот Врубель?

Но Мэри уже не слушала. Ее поразила обстановка комнаты. Все пуфы стояли так уютно, на окне были темно-розовые занавески, две финиковые пальмы и даже фуксия.

— Совсем, как у тети в Костроме.

Марья Ниловна усадила Мэри в большое кресло и придвинула круглую чашку с цветами.

— Кушайте, варенье — вишневое. Я сама варила. И вишня хорошая — деревенская.

— Я люблю деревню, а вы?

— Конечно, — лицо Марьи Ниловны просияло от воспоминаний, — будь воля, никогда бы в городе не жила.

— А почему же вы в городе? У вас дело?

— Да, дело, — поморщилась Марья Ниловна, — а я в деревне выросла. Люблю: бывало, вот такой осенью прибежишь в избу мокрая, залезешь на печку, отогреешься и так хорошо станет внутри. А здесь все люди зверем смотрят и спрятаться негде.

— У вас свое имение?..

III.

Через два дня Мэри снова лежала на своей кушетке и изучала потертых японок на материи. Блоковский «Балаганчик» был раскрыт, но разве можно читать печального Блока, когда пальцами мертвеца охватывает тоска, холодная, бесцельная, тягостная, как зубная боль.

Где-то внизу во дворе фальшивила шарманка.

— Пускай могила меня накажет...

Кто-то постучался. Мэри слышала, но ей не было ни до кого дела, ей никого не хотелось видеть:

— К вам нельзя, Мэри?

Мэри вскочила, как от электричества, лицо запылало красными пятнами и она поспешно убирала свои волосы.

— Поздно прихорашиваться, Мэри, я уже здесь.

Голос был немного терпкий, а «р» слегка хрустело.

— Кирка? вы здесь, Кирка? Кирка... — она горячо схватила его руку и смотрела прямо в глаза, желая скорее взять его лицо в себя.

— Когда приехали? Как загорел и совсем мужчина. Да у вас новый костюм. Какой франт — ну, повернитесь. Отлично, прямо денди. А почему галстук такой пестрый? Ах, он с синим — это к глазам? Кирка, это отлично, что вы пришли...

— Я не думал, что вы так рано вернетесь в Москву.

Кирилл взял от нее руку и сел в кресло напротив.

— Экзамены, конечно. А вы? Много сдали? Помните, как мы занимались по-гречески. Я все-таки свет зажгу — хочется рассмотреть вас, как следует.

— Сумерки лучше.

Но кнопка уже щелкнула и он досадливо отвернулся.

Кирилл был юноша с бледным лицом; а от нежных глаз веяло чем-то полевым. Точно два синих барвинка кто-то забыл на его лице.

— А вы изменились, Кирилл.... Какие у вас красные губы стали.

— Я их крашу, — улыбнулся Кирилл, а Мэри, приблизив к нему колени, взяла его руки.

— Говорите же, рассказывайте, что видали, каков Гурзуф, я ведь в Костроме все лето просидела.

— Я был не в Гурзуфе, а в Кисловодске. О, там чудесно, оживление, такое, как в Москве зимою, масса публики, нарядно, музыка.

— Но ведь это скучно, летом то же, что и зимой?

— Что вы говорите, Мэри? Здесь все деловое, а там люди отдыхают, рассудок оставили в Москве, а привезли только чувства, легкие и острые. Чувства только на лето. Придет сентябрь — все вернутся к старому, лето исчезнет из памяти и сотрется, как узор на песке.

— Кирка, мне кажется, летом хочется моря, солнца...

— Солнца и там достаточно, а моря? Да, хочется, но самое главное встречи. Самое интересное в жизни — люди, их нужно брать. Я природу, кажется, никогда не понимал, а если и понимал, — это была моя ошибка, — он машинально взял книгу со стола.

— У вас «Анна Каренина», Мэри? — и насмешливым полупшепотом продекламировал:

«Для нас Державиным стал Пушкин,
Нам нужно новых голосов».

— Это возмутительно, Кирка, когда я вам говорила, что Наташа Ростова просто самка, вы объявили, что она — идеал вашей женщины, а теперь... Ведь это вы научили меня любить Толстого...

— Это, вероятно, было в прошлом году?

— Это было месяцев семь назад.

— За каждый год — я живу десять лет, пять лет прошло с тех пор.

Мэри позабыла все, что она хотела спросить у Кирилла и разговор остановился. Мэри была выбита из колеи внезапности.

— Ну, экзамены как?

— Ах, право, не знаю. Не уйдут они. Экзамены интересны, как сильное ощущение, только не стоит на них тратить жизнь. Жизнь так коротка, Мэри, нужно торопиться, нужно ковать из года десять лет, иначе все не успеешь взять.

— Кирка, как я тосковала эти дни... может быть, даже по Вас, может — вообще.

— Оттого, что вы не живете: торопитесь, Мэри, вон у ваших глаз морщинки. Нужно гореть, любить...

— А если не любитесь?

— Ищите людей, встреч, а там полюбится, только нельзя киснуть. Да разве в одной любви дело? Вы выйдите сейчас на Театральную, трамваи звенят, автомобили мчатся, готовые раздавить, и такое кипучее множество людей, хочется жить, хочется бороться с людьми, с автомобилями, чтоб самому оказаться на автомобиле, а другие пусть идут. Вы любите бриллианты?

— Бриллианты?.. — повторила Мэри, она крепко задумалась о чем-то, глядя на Кирилловы руки.

— Я когда прохожу мимо витрин или в партере Большого театра, не могу оторваться;: как они сверкают — Мэри — сказочно...

— Сказочно?...

Мэри тряхнула головой и спросила:

— Скажите, а где же ваши Юрченко, Максимов?

— Я их не видал еще. Зачем вам они?

— Кирка, вы так интересовались раньше студенчеством, землячеством...

— Ах, все это ерунда. Игра в игрушки. Для кого нужны эти землячества? Бегаешь, как белка в колесе, и никому пользы. Я, в сущности, инстинктивно не люблю бедных, и вы думаете, они чувствовали благодарность, что я организовал им разные лекции, — ничуть. Меня интересовали они, как индивидуальности, но теперь... Это преклонение перед печатным словом, это подражание книгам и людям: они сами не живут, они копируют вкусы и запросы с доцентов, актеров, писателей. У них и мысли все копированные. Так я лучше буду жить с оригиналами. Вы думаете, они умеют

любить? Жалко, бедно, без всякого разнообразия. Они не знают вкуса любви. Эти ночные чайные, хождения по бульварам — это пошлость, Мэри, а не молодость. Они даже поселиться не умеют, соберутся вместе, или напьются, гадко, незстетично, водкой с колбасой или начнут петь что-нибудь похоронное: «Что час, то короче к могиле наш путь» — а припев и к радости, и к горю один у них:

«
И к рюмочке приложимся, потом и к огурцу».

Русский студент, бутылка водки и похоронная песня неразрывны.

— Кирка, вспомните, вы говорили — общественность, работы студентов.

— Работа хороших студентов? Хорошие — эти рвутся куда-то, сами не знают куда, сегодня в воздухе веет войной — они прапорщики, вчера кооперацией — они были кооператорами, и душа их становится то душой прапорщика, то душой кооператора, а своей души — студенческой — нет. Чем будут завтра? Не знают, ведь направление ветра определить нельзя. Тех — шестидесятников — давно нет.

— Слушайте, Кирка, ведь все это я вам говорила, вы отрицали.

— Мнения меняются, Мэри, я многое узнал. Главное понял — жизнь коротка, нужно спешить.

— Не надо было говорить. Я жила, Кирка, как вы поведуете. Эпикурейство, чувственность, ощущения, вы меня остановили. Я слышала от вас о студенчестве, о науке, о какой-то другой жизни. Я поступила на курсы и теперь вы же все хотите разрушить. Лучше молчите, молчите...

Она села на маленькую скамеечку у его ног и взяла его руку.

— Можно? — поцеловала его руку молитвенно и положила ее на свою голову. Кирилл тихонько ласкал ее волосы и она была счастливая и тихая.

— Нужно любить, Мэри, нужно ловить свое счастье, искать...

Мэри казалась его рука светлой и прохладной, как лепестки лилии. Нежно касаясь губами его пальцев, она подняла к нему длинные серые глаза, спросила:

— Кирилл, я не знаю, лжете вы или нет? Вы так любите, так умеете лгать? Может — это минутное? Кирка, скажите, к женщинам вы так же относитесь? Правда? Чистый?

Кирка засмеялся своим заразительным бойким смехом уличного мальчишки.

— Какая вы глупая, Мэри.

Она опять приласкала его руку.

— Мэри, мой совет вам — будьте немного хищником, берите от людей все, что можете, а то они от вас возьмут. Чтоб любовь получила красивую раму — нужно стать богатым. Любовь на автомобиле, правда, красивее трамвайной? а аэропланная еще ярче. Мэри, — вдруг он взял свою руку и, повернув ладонью, поднес к глазам. Мэри, — смотрите, какая яркая у меня линия счастья. Хиромант сказал, что я буду счастлив, страшно счастлив.

— Ну, пора идти.

— Куда, — спросила Мэри, не желая выпускать его рук, и, взглянув в его потемневшие глаза, сказала:

— Вас ждут, я чувствую, вас ждут.

Кирилл слегка потянулся, шумно засмеялся и ушел.

Пока был с ней Кирилл, ей было все равно — что он говорит, потому что он был с ней, а когда ушел — Мэри узнала, что он мало ей принес радости, на сердце была пустота.

А завтра опять курсы, и послезавтра — курсы — подумала внезапно Мэри. — Лгал Кирка или нет? разве разберешь его. Он сам, наверное, не знает.

Она вдруг злобно сняла со стены расписание лекций и рвала его в мелкие клочки.

И почему-то в это мгновенье банальный мотив, который играли этажом ниже, стал ей ясен, она слышала уже давно его, но не уясняла, что играют.

— Как пошла жизнь, как пошла жизнь, — но вдруг вспомнила другую пошлость, уютную, ласковую, с канарейкой, фуксией и вишневым вареньем, и пошла в комнату Марьи

Ниловны.

Мэри постучала, ей не ответили.

— Марья Ниловна, верно, задремала, — Мэри приоткрыла дверь. Было отворено окно, потому дверь распахнулась, оторвавшись от руки. Закрыть ее Мэри не смогла.

Она так и осталась в дверях.

Марья Ниловна сидела на коленях у русого господина с широким лицом. Блузка ее была расстегнута. Господин, увидав Мэри, не сконфузился, сказал, не выпуская Марью Ниловну:

— Твоя подруга премиленькая, пусть к нам идет.

Марья Ниловна, узнав Мэри, стала пунцовой и, спешно запахивая блузку, побежала к ней, ее черные глазки блестели в ужасе и гнев.

— Уходите, сейчас же уходите вон...

Она толкала Мэри и захлопнула дверь.

Русый господин с любопытством смотрел:

— Что ты, Мурка, взбесилась? Я и не думал, что ты такая ревнивая. Оставила бы девочку с нами.

— Ревнивая? — презрительно сказала Марья Ниловна. Вы что, воображаете, что в дом попали? — она отошла к окну, бледная и злая. — Она курсистка и дочь генерала.

Мэри теперь поняла, почему Марья Ниловна живет в городе. Но ей было все равно, ей хотелось только острой физической боли, сбежать вниз и биться головой о мостовую, пока не треснет череп, или прямо броситься вниз из окна. А может, ей хотелось какой-то страшной пошлости, напиться до одурения водкой, отдаться первому встречному нагло и грубо. Ей хотелось еще кричать дико и бесформенно и рвать ногтями кожу на груди.

А внизу, должно быть девочка, с двумя косами и незнающими глазами, играла гаммы.

IV.

Боясь сумерек, ожидая томящей вечерней тоски, Мэри бродила по коридору, — в твоей комнате она не могла остаться. Подошла на телефонный звонок.

— Марью Владимировну?

— У нас, кажется, такой нет, но я все-таки спрошу.

В кухне с хозяином говорила какая-то полная, румяная барышня. Ее широкая юбка была слишком коротка, а узкий вырез блузки — слишком низок.

— Спрашивают какую-то Марью Владимировну.

Румяная барышня засмеялась как будто нарочно, сморщив нос от смеха, губы открылись и стала видна широкая щелка между передними зубами.

— Это — я, — и она побежала, раскачиваясь, к телефону.

Она говорила долго, быстро и шумно. Мэри вошла к себе и стала перелистывать Гюисманса. Книга была Кириллова. Между страницами встречались сухие лепестки роз и левкоев.

— Я к вам вошла без спроса, нужно привыкать, мы ведь соседки. Зовите меня Маня.

Марья Владимировна присела на стол и задела книгу. Мэри невольно брезгливо книгу захлопнула и отложила подальше.

— Очень рада, что вы такая приветливая.

— Я хотела вас просить — пойдете в кинемо. Я ужасно люблю драмы, а мужчин не хочется звать, только сегодня переехала и хочется отдохнуть. Вы как к мужчинам относитесь?

Мэри немного удивленно посмотрела и не ответила.

— По моему, Маруся... — заговорила Маня.

— Только не Маруся, мое имя Мэри.

— Вот, Мэри, по моему, они все-таки полезный народ, — она все время посмеивалась своим коротким нарочным смехом, — знаете, иногда денег нет, а удовольствие получить хочется, ну и разрешишь повести себя в «Ампир» или что-нибудь такое... Вы больше любите «Ампир» или «Эрмитаж»?

К Мэри постучались.

— К вам мужчина, — шепнула, задохнувшись, Маня, — и сейчас же выскользнула, обдав мужчину задорным смешком и персидской сиренью от Ралле.

Мэри удивленно смотрела, она не знала этого мужчины и в то е время он был странно-обыденно знаком. У него был очень вздернутый, крошечный нос, круглые глаза, галстук красный с сиреневым, из-под фуражки с кокардой выпущен локон. Альмавива с капюшоном была гордо спущена с одного плеча.

— Вы не узнаете меня, Мэри Евгениевна?

— Нет...

А его «р» трещало, похоже на Кирилла.

— Я — Попов.

— Попов?... Попов...

— Ну да. Адриан Модестович Попов, из Вильны.

— Ах... Здравствуйте... Из Вильны. Вы, может быть, видели отца?

Из Вильны... — о, теперь Мэри ясно, ясно помнила —они играли вместе ви) каком-то спектакле, она барышню, а он лакея. Милая Вильна, чудесная Вильна!

— Генерала не видал, да из Вильны давно — перевели сюда. И случайно увидел Вас, как вы входили в трамвай.

— Что же, раздевайтесь, кажется, у меня есть чай.

Попов снял пелерину. Его форменная тужурка была очень коротка, а на толстых бедрах узко натянуты рейтузы.

— У него бедра, как на рисунках Бердслея, — улыбнулась Мэри и сказала:

— Вы из Вильны, Боже, вы из Вильны.

— О вас много скучали, Мэри Евгениевна, все справлялись у генерала, где «дочь дивизиона».

— «Дочь дивизиона» — засмеялась Мэри, — да, так меня звали. Это было давно. Я очень постарела, Адриан...

— Модестович, — подсказал он, — что вы, Мэри Евгениевна. У вас все такие же глаза, как у русалки...

Мэри только смеялась. От его наивных комплиментов пахло жасминной помадой и виленскими кавалерами.

— Как все удивились, что вы на курсах.

— Воображаю. Поручик Шарыпов, наверное, постарался бы не узнать на улице. Он говорил, — курсистки — это категория плохо причесанных голодных девиц.

— А вы знаете, Мэри, я женился, — он поднял трагически на нее круглые глаза и отвел рукой прядь со лба.

— Правда? Давно?

— Год тому назад... Я был знаком со своей женой всего сорок дней. Я от отчаяния женился, Мэри.

Попов давно уже не говорил, а декламировал.

— Отчего же вы отчаялись?

— Я вам написал о своей любви, а вы не ответили даже. Когда я женился, моя матушка спросила: «А Мэри, Адриан?» Я не ответил матушке.

— Какой вы смешной. Я совсем от таких отвыкла.

— От каких «таких»? — драматично спросил Попов.

— От таких... ну нетронутых. Здесь в столице иные.

Попов долго сидел, а уходя, сделал какую-то надпись и передал Мэри пакет.

— Раскройте, когда меня здесь уже не будет.

Мэри раскрыла, когда он уже ушел. Это была фотография — Попов в альмавиве, усы колечками, на обороте надпись «А счастье было так возможно».

Мэри стало весело от усов колечками и от надписи. Она сама с собой хохотала. — Милая Вильна, смешная Вильна!

V.

Мэри часто проходила на бульвар. Ей казалось, что она ходит читать. Книга была открыта на тридцать седьмой странице третий день, а Мэри часто взглядывала на большой кирпичный дом.

Она чуть не уронила книжку, — так близко от нее прошел Кирилл. Он ее не заметил, лицо у него было задумавшееся. На Кирилле было светло-серое пальто и шляпа, башмаки и перчатки из серой замши. Лиловый галстух гармонировал с букетиком фиалок в руках.

— У него цветы, он к женщине, — зло подумала Мэри.

Кажется, она была права, — глаза Кирилла блеснули.

Мэри пошла за ним по переулкам. Часто неожиданно сворачивали. Внезапно они очутились у костела. Кирилл вошел деловито, Мэри в недоумении остановилась. Он пошел умеренно, стало ясно — здесь он бывает часто. Кирилл остановился перед статуей Святого, быстро, пугливо окинув храм. Людей не было. Тогда он поспешно опустился на колени и припал к ноге Святого, истертой поцелуями. Его плечи вздрагивали, как от рыданий, а губы шептали молитвы...

Он целовал обцелованные ноги, а потом встал с колен, целовал раны на груди святого так же пылко и нежно.

Мэри давно проскользнула в костел. Ей был виден из-за колонн Кирилл, а с другой стороны за статуей фигура девотки с белесыми волосами, молившейся с исступлением ханжи.

Ей показались похожими Кирилл и девотка.

— Он не католик, почему он здесь? — думала Мэри.

Кирилл стоял перед статуей в экстазной позе. Свет, пробившийся сквозь прозрачную живопись окна, сделал его лицо голубым. Он кусал губы, а тонкие пальцы его ломко хрустели. Послышались шаги сторожа. Кирилл, как преступник, отступил от Святого, только к его подножью бросил фиалки и пошел, закрыв глаза ресницами, опустив голову.

Мэри немедленно пошла к статуе. Ей показалось — это был святой Себастьян. Она встала на колени и незаметно спрятала в муфту цветы.

— Зачем Себастьяну Кирилловы фиалки? — и ушла.

Когда Мэри вернулась, ей было страшно одной и холодно. Фиалки она не поставила в воду, дала им вянуть на столе. Все та же тоска мучила Мэри, она запуталась в тоске. Мэри поняла, что Кирилл кого-то любит, иначе он не молился б так страстно.

За картонной стеной переговаривались Марья Ниловна и Маничка, они уже подружились.

— Нет, на лоб не пойдет мне, так не носят, — горячилась Маничка.

Мэри прислушалась. Из слов поняла, — те обе куда-то идут. Она вошла к Маничке, обе девушки сидели перед зеркалом и поправляли прически. Марья Ниловна сконфузилась, а Маничка задорно засмеялась. Мэри заметила, что они сильно подгримированы.

— Можно с вами пойти?

— Что вы, — махнула рукой Марья Ниловна. — Мы в кафе «Бом».

— И я хочу.

— Молодец, Мэри, идемте.

— Мне кажется, вам там не место, — достойно сказала Марья Ниловна, а Маничка вспыхнула:

— Сколько раз я вам говорила, что между мной и Мэри нет никакой разницы, я тоже гимназию окончила.

— Можно мне Вам грим поправить? — спокойно сказала Мэри. Марья Ниловна конфузливо отвернулась, ей показался бестактным этот вопрос. Но Мэри подошла.

— Уже полтора года не занималась этим.

Она подрумянила веки Марьи Ниловны, стерла излишек со щек, посадила мушку, крошечную, грациозную, в

уголок рта.

— Вы мастер, — сказала Маничка, а Мэри поспешно подвела свои глаза и напудрилась. От косметики ее лицо стало тонко распутным, детскость осталась только в серых глазах. На сильно обнаженную шею Мэри надела свою единственную драгоценность — крест из печальных жемчужин.

Они пошли — три барышни, от них пахло крепкими духами и косметикой. Мужчины жадно впитывали этот запах и следили глазами за тремя девичьими фигурами.

В кафе нарумяненные девушки вошли строго, не глядя на окружающих. Мужчины заметили сразу полную и красивую Маничку. Маничка начала посмеиваться и переглядываться. Марья Ниловна робко и нежно скромничала, мелко глотая кофе и держа чашку, оттопырив мизинец. Мэри заказала себе ужин, ела много и деловито, не кокетничая, она закинула ногу на ногу и затягивалась длинной папироской. Ей шла английская шляпка из черного фетра, какие бывают у амазонок. Первую записку прислали Мэри.

— Это потому, что вы вызывающе сидите, — сказала Маничка, — вас все принимают за девицу.

Мэри, спокойно взглянув на злобные губы Мани, затянулась. Когда и Мане прислали записку, та успокоилась. Мужчины писали на карточках и на меню и присылали с мальчишкой-кельнером.

У мальчишки были красные губы.

— Как у Кириллы, — подумала Мэри.

Когда девушки через полтора часа выходили из кафе, вышло много мужчин. Маничку сейчас же подхватили под руку, Марья Ниловна тоже пошла с кем-то от подъезда и исчезла в толпе. Все случилось внезапно. Мэри осталась одна. Около — три хлыщеватых студента.

— Можно с Вами, барышня?

Мэри молчала.

— Поедьте в «Эрмитаж», — сказал один, — все равно ваши подружки вас покинули.

— Нет, — ответила Мэри и ей вспомнилась ее комната с грязно-розовыми обоями, где-то за толпой она слышала звонкий смех Манички. Один из трех взял Мэри под руку,

— он был рыжий, а рот был нежно-красный и ровные сверкающие зубы. Светло-голубой околыш опять напомнил Кирилла. Она пошла с рыжим, оба менее смелые шли сзади.

У Максима было радостно и остро. Мэри было странно близко сидеть от дам в косметике и тетовских ожерельях, странно быть у Максима, когда привыкла смотреть только на его пестрые плакаты. Откуда-то ей кивнула радостно Марья Ниловна. Мэри села с тремя. Подошел кельнер.

— Что вы закажете? — спросил студент.

— Кокотки выбирают самое дорогое, — подумала Мэри и сказала:

— Я буду только устриц.

Студент поморщился, важно бросил:

— Десяток устриц.

Мэри глотала прохладных устриц. На сцене женщина с волосами цвета ржавой меди священнодействовала в танго. Ее кавалер был очень бледен от пудры, его движения были, как у загипнотизированного мертвеца. Это придавало им острую эротичность.

— Вы совсем не похожи на этих женщин, — сверкнул рот рыжего у глаз Мэри, — я приду к вам завтра вечером, да? — он целовал ее руку в ладонь.

Мэри вспомнила слова Мани: «Удовольствие получить хочется, а денег нет», но их вытеснили другие слова: «Нужно быть немного хищником, нужно брать все».

Губы рыжего ей показались красивыми.

Все три барышни вернулись почти одновременно к дому Субботиных, они торопились увидеть друг друга, точно было свидание влюбленных.

— Я так обрадовалась, увидав вас у Максима, — сказала Марья Ниловна, — я боялась, что вы обиделись и ушли домой.

— А я была уверена в искусстве Мэри. Что, Марья Ниловна, ваш был интересный?

— Как сказать — в отношении наружности — мне все равно, а так вежливый. Завтра повезет в оперетку. Он уже пожилой.

— А мне какая-то шваль досталась, повез в «Альказар», наужинала всего на четвертной, а вы сколько стоили, Мэри?

— Как сколько?

— Ну, ужин ваш? чем дороже наешь, тем мужчина больше ценит. Зато я встретила там с одним — прямо великолепный мужчина, показал свой телефон издали на меню. Я завтра позвоню.

— Я предпочитаю пожилых. Может, на содержание возьмет, — мечтала Марья Ниловна.

— Да, вам, конечно, приходится заботиться, — презрительно пожала губами Маня, — меня проводил до ворот и все упрашивал в «Эрмитаж», а я говорю — сегодня проводите до пассажа Субботиных, дальше заходить не стоит. — Помните, Мэри, старайтесь, чтобы мужчина вам подольше не сделал предложения, а то увидит отказ и сейчас же конец ухаживаньям — ищи другого.

— Маня, — с ужасом остановила Марья Ниловна, взглянув на Мэри.

Мэри утром не находила места. А все говорило о вчерашнем. Телефон работал усиленно. Марья Ниловна и Маня бегали торжественные и шептались, как в большой праздник. Забежала к Мэри Марья Ниловна. Мэри, несмотря на третий час, не вставала, она была в папильотках, с распухшими глазами, похожа на сурка.

— Знаете, Мэри Евгениевна, кажется, мне удастся.

— Что удастся?

— Да устроиться. Он предлагает сто двадцать и квартиру — нынче это так трудно найти. Еще года три, а потом

домой. Я так люблю кур, Мэри Евгениевна, плимутроки, лангшаны, а главное — корольки. Знаете, маленькие, желто-белые.

Ее вызвали к телефону.

— Ваш еще не звонил? — спросила вошедшая Маня. — А я еду сегодня в балет. Мой оказался инженером. Этот, тот из «Альказара», от «Бомы», так был дряненький. Впрочем, мы сидели в таком обществе, которое всех порядочных мужчин распускает. Как вы можете вообще иметь общение с этой проституткой?

— Это кто? — испуганно спросила Мэри.

— Марья Ниловна, конечно...

Позвали к телефону Мэри. Она так и подошла в папильотках.

В телефон услышала упругий мужской голос.

— Кто это?

— Будто не узнаете, детка.

Мэри побледнела.

— Я не хочу говорить с вами и никогда, никогда не звоните.

О, Мэри ясно вспомнила нежно-красный рот с ровными зубами.

Он узнал номер телефона у Марьи Ниловны. Как все просто.

— Я приду сегодня в семь. Ждите?

Мэри повесила трубку.

Через две минуты она уже звонила по телефону.

— Кирка, я приду к Вам сегодня. Я должна вас видеть. Кирка, я верю в вашу чистоту — не лгите на себя. Кирка, неужели вы не понимаете, что я не могу не видеть вас по неделям, без вас жизнь — только ожиданье вас. Кирка, я приду сегодня в шесть.

VI.

Мэри смело вошла в комнату Кирилла. Горничной сказала:

— Мне написать записку, — и дверь заперла на ключ.

Она поспешно осмотрелась.

В комнате Кирилла пахло духами. Из плохо закрытых флаконов шел аромат тайный и скользкий. Флаконы занимали целую полочку у зеркала. Страстные и строгие духи *Houbigant* сочетались с нежной покорностью духов *Pinaud*. Флаконов других фабрик не было.

Против большого окна с фиолетовой занавесью стояла кровать, узкая, железная, без тюфяка, с аскетически белым покрывалом. Большое Распятие было вырезано из грубого белого дерева.

Мэри подошла к столу, устало села, рассматривала большой портрет мужчины в раме из желтой кожи. Седые виски портрета странно противоречили темным глазам, томно прикрытым выпуклыми веками.

Мэри поспешно трогала книги на столе. Между Гюисмансом и Аннунцио лежал молитвенник. Она робко открыла стол, сразу стала пунцовой и оглянулась на дверь, хотя та была на ключе.

Мэри с трепетом схватила письмо, лежавшее на столе. Письмо было так смято, точно его хотели уничтожить, прочли и пожалели воспоминаний.

«Я не знаю, Вера, как благодарить, вы — учительница любви, вы дали понять мне все разнообразие, всю утонченную гармоничность любви, вы дали мне пережить чувство не только сильное, но нежное. Любовь так груба, я боялся ее, а вы вдохновенно изощрили чувство. Девушки слащавы, как июньские маргаритки — меня влекла всегда или вульгарная распутность настурций, или холодеющие прикосновения когда-то много любивших астр...»

Мэри прочла письмо, взволнованно перечла его, ее лицо стало злым, даже губы стиснулись.

— Когда это было, когда?

А наверху страницы жестоко стояла пометка года и месяца.

— Два года назад?

Мэри не верила, но отчетливо стояла цифра на синей бумаге. Ее лицо потемнело.

— Все было ложь, или теперь ложь? Разве я знаю Кирилла? Он лгал два года, он не был чистым тогда. Как я ошиблась... как могла верить?

Она не могла думать. Хотела прислониться к стене и голосить по-деревенски. Потом пошла, увидела свое желтое лицо в зеркале, машинально взяв покрывало с кровати, завесила зеркало и вышла.

Когда пришел Кирилл, он испуганно остановился. В растворенную дверь было видно зеркало, завешанное белым. Он побледнел.

— Какая скверная примета, будет покойник, будет покойник... — но, открыв электричество, он положил покрывало на кровать и взял с тумбочки японскую мозаичную шкатулку. В ней лежали галстухи. От коробки пахло кипарисом и телом гейши.

...Кирилл взял темно-голубой. Голубой шел к сегодняшним глазам. Он завязывал галстух тонкими бледными пальцами, когда вошла Мэри. Он видел в зеркало ее суровое лицо с жестокими губами и не обернулся.

— Кирка, правда или нет? Я не могу уйти от вас. Да говорите же, Кирка.

— Что правда?

— Вы ввали, вы морочили мне голову, вы были, как все.

— Мне смешно, Мэри, — улыбнулся Кирилл в зеркале.

— Гадко, — выкрикнула она и ушла с мертвыми глазами.

Кирилл, когда дверь хлопнула, сразу перестал улыбаться. Он подошел к Распятью и, как тогда в костеле, прижался испуганно к ногам Иисуса и рыдал подавленно и горько, без слез.

— Господи, что я делаю, что я делаю с ней, с собой?...

Он вслух шептал Иисусу:

— Так лучше. Убить в ней всякое чувство, я недостойн. Лгать, лгать...

Он взял листочек, брошенный Мэри, улыбнулся, потом снова исказилось его лицо и он опять лобызал ноги Иисуса.

Успокоился, подошел к трюмо, кончил завязывать галстук и, подумав:

— Ненавижу бесцветные рты, — провел алым карандашом по упругим нежным губам.

Подходя к подъезду, Мэри встретила Марью Ниловну и Маничку. Маничка радостно засмеялась:

— С нами, Мэри, с нами.

Марья Ниловна оборвала:

— Мэри Евгениевне с нами ехать не следует, ведь сегодня мы на всю ночь..

— Скажите пожалуйста, я же еду, а тоже курсистка. Будто курсистки веселиться не могут.

— Вы правы. Возьмите меня с собой, Марья Ниловна. Мне скучно. Но мне нужно переодеться.

Они все три поднялись наверх. Мэри пришлось надеть блузку и шляпу Марьи Ниловны, чтоб быть пошικарнее. Шляпа была с двумя страусовыми перьями, стремящимися вверх, а поверх блузки из черного шелкового газа накинули белого песка.

— Вы отобьете у нас всех мальчишек, — сказала шутливо Марья Ниловна, а Маничка язвительно прибавила:

— Разве одних мальчишек.

Неистово зазвонили. Это были кавалеры, заждавшиеся на бульваре. Инженер, фармацевт и два студента.

VII.

Сначала кутили в общей зале. У всех были знакомые и перекидывались остротами. Мэри узнала рыжего студента и отвернулась — уничтоженная:

— Он примет меня за такую.

Рыжий студент подошел к Мэри и взял ее руку, он посмотрел в ее глаза, она отвела свои.

— Я приду завтра вечером, — сказал он, а фармацевт закричал:

— Вы не знаете правил вежливости, разве вы не видите, что барышня занята.

Мэри казалось, что ее ударили хлыстом через все лицо.

Рыжий хотел сказать что-то грубое, но, посмотрев на Мэри, понял и отошел.

— Он чуткий, — успела подумать Мэри и опустила лицо на руки. Фармацевт, довольный своей победой над рыжим, самодовольно придвинулся к Мэри и стал рассказывать еврейские анекдоты.

— Неужели вам не противно, ведь вы — еврей? Это — унижение.

Фармацевт удивленно посмотрел глазами в толстых веках с жилками.

— Вы любите анекдотики с перцем?

Он начал ей шептать что-то липкое и потное, глаза его стали совсем черносливыми, он часто посмеивался и мигал.

Водку пили чашками, а когда охмелели, перешли в отдельный кабинет.

— Мне к телефону, — сказала Мэри чужим голосом и пошла, фармацевт за ней. Телефонная будка была мягкая внутри и пахло в ней противно людьми. Долго не отвечали со станции. Мэри устало нажимала телефонную ручку. Наконец сказала:

— Кирилл Андреича.

— Нельзя так поздно звонить — он спит.

— Разбудите его, слышите? Вы должны разбудить.

Скоро послышалось Кириллово тихое, но не сонное:

— Алло.

— Это — Мэри, Кирилл, приезжайте в ресторан.

— Вы с ума сошли, Мэри.

— Сейчас же приезжайте, поймите, сейчас же...

— Я не могу, Мэри.

— Кирилл, я... я... я...

Он как-то оправдывался, но Мэри повесила трубку. В будку вошел фармацевт. Поцеловал мокрыми губами в шею. Мэри вырвалась и пошла. Она хотела домой.

— Куда, куда вы, Мэричка? — он сильно потянул ее в свою сторону, — да я вас ни за что не пущу.

Мэри не могла противиться, она так устала.

— Вот беглецы, — захохотала Маня, — а мы уже думали, вы испарились. Наша Мэри из молодых, а ранняя.

Пили противно много и ели кильки. Как-то незаметно исчезли Маня и Марья Ниловна с кавалерами.

Мэри была в тумане и удивилась, когда заметила.

— Где же они?

— Разве вам скучно? — спросил фармацевт, пожимая ее руку выше локтя, и начал шептаться со студентом.

Мэри в ужасе видела их лица, красные и потные, их пьяные глаза и раскрытые влажные рты. Она взглянула в смятении и поняла, — ей не уйти от них.

Перед ней лежал фруктовый нож.

— Я буду отбиваться, царапаться, — думала Мэри и знала, что не в силах даже протянуть руку за ножом.

Она отрезвела, но усталость совсем оцепенила ее. Мужчины совещались, точно метали жребий — кому? Фармацевт придвинулся к Мэри, взял ее за талию и стал целовать отвислыми губами ее шею. От поцелуев оставались мокрые розовые кольца, — студент жадно смотрел и расслабленно улыбался.

Мэри последним усилием оторвала себя от фармацевта и он упал на диван и скоро захрапел.

— А мне можно? — спросил студент, широко распустив губы — и тоже не был в силах встать.

Мэри сидела оцепенелая с двумя мужчинами. Оба спали. Она глядела, что воротничок фармацевта был серый от грязи, а у студента на мизинце длинный желтоватый ноготь. Она думала, что эти двое три минуты назад могли сделать что-то тяжкое. Ей хотелось рассмотреть их, таких ничтожных и расслабленных, а может, ей хотелось их бить по голове чем-то тупым. Потом она перестала думать, но глаз не закрывала.

Они проснулись с тяжелыми головами и было стыдно глядеть друг на друга, они пожимали руки Мэри, а Мэри молчала.

Ее привезли домой к трем дня. У себя она легла, не раздеваясь, на диван, закрыла глаза. Но вместо сна было то же тяжелое оцепенение.

На стук она испуганно встала. Было четверть восьмого. Она, не опомнившись, сказала почему-то: — Войдите, — и вошел рыжий студент.

— Вы? — равнодушно сказала Мэри.

— Да, я.

Он просто сел рядом с ней на кушетку, как друг.

— Зачем вы были вчера с этой компанией, Мэри?

— Как зачем? Веселиться.

— Вы меня не уверяйте, я знаю, вы — не такая, как те. У вас что? несчастная любовь?

Как просты были его слова, а руки узки и белы, как у Кирилла.

Он говорил что-то о жизни, печальное и красивое. О том, что любовь нужно уметь взять; Мэри иногда опускала глаза в знак согласия, иногда говорила:

— Нет.

Она смотрела, как движется его рот, ей нравилось, что что нежно-красные губы движутся для нее. Ей хотелось плакать или сесть у его ног, как у Кирилловых, положить голову на его колени, а он будет ласкать волосы нежно и кротко.

Студент заметил взгляд Мэри на своих губах. Он завладел ее плечами, целовал остро и долго в рот.

— Как пошло, — сказала печально Мэри, — уйдите от меня. Мне противно.

Может быть, ему стало стыдно, может быть, он понял, что ничего не добьется и ушел.

Скоро постучался Адриан Модестович Попов, он ходил к Мэри каждый день, приносил закуски и конфеты и каждый вечер говорил о своей любви к Мэри и о том, что она его погубила.

— У вас скверное настроение, Мэри Евгениевна, — я уже заказал Ксюше самовар. Представьте, ветчина стоит рубль шестьдесят фунт — просто неопишимо. Я вам принес еще стихи Надсона. Знаете, современные пишут бесформенно, а здесь высокие идеи. «Друг мой, брат мой...»

Он возвел глаза и положил руку за борт тужурки.

— Право, лучше замолчите, — жестко сказала Мэри.

— Как вы жестоки, Мэри Евгеньевна, как вы неумолимо жестоки. Но я все-таки не могу жить без вас, без вас я в каком-то туманном сне, в кошмаре. Вы буквально захватили всю мою душу, — он поцеловал ее руку.

Странно, сегодня Мэри руку не вырывала. Он поцеловал руку выше.

— ...Вот вы молчите, вы всегда молчите, когда со мной. Я сегодня был у Павленковых, там приехала родственница Анна Марковна, говорят, что она красива. А мне какое дело, что она красива, когда все мои помыслы с вами.

Мэри сидела, откинув голову на подушку дивана, глаза были закрыты.

Попов посмотрел на нее пристально и, вдруг наполнившись дерзостью, он с движением Ромео припал к ее губам и, испуганно оторвавшись, посмотрел, что она сделает.

Мэри ничего не сделала... Бешено, увлекаясь ролью, вздымая и поводя глазами, Попов начал целовать ее шею, ее лицо.

Губы Мэри потеплели и она слегка отвечала на его поцелуи.

Полов вдруг встал красный и, задрожавшей рукой, потушил электричество.

— Сейчас же зажгите, — приказала Мэри и он повиновался. — Какая гадость...

— Я думал... не так стыдно...

Мэри засмеялась ему в лицо.

— Влюбленные должны любоваться красотой друг друга, чего же стыдного в любви.

Совершенно неожиданно пришел Кирилл. Сегодня Мэри везло на гостей. Он вошел сияющий и румяный. Темно-синий драп делал его элегантным. Он сбросил пальто, как будто был уверен, что его ждут.

— Что это вас занесло ко мне?

— Я со скачек.

— Выиграли?

— Да, во второй раз в жизни. А то поразительно — всегда проигрываю.

— Не понимаю, какое могут удовольствие доставить скачки. Я понимаю разумное развлечение, как преферанс, — произнес Попов.

— Знаете, Мэри, на скачках я кричу от волнения. Если б вы видели Армэ. Правда, какое яркое имя? Как будто у молодой пылкой язычницы. Она отликает золотом. О, какая она нервная. Когда перед финишем жокей бьет хлыстом, у нее вздрагивает вся кожа, а глаза горят восторженно и страстно. Но и жокей хорош. Ему не больше семнадцати, у него, как у Феба, золотые волосы и, когда вскрикивает перед концом, кажется, что он в экстазе. Он точно сросся с Армэ, ее движения — его движения, и у них общее тело. В них есть что-то божественное, когда они достигают.

— Я один раз был на скачках, приехал, поставил десять рублей, проиграл и уехал. Это совсем не заманчиво.

Кирилл посмотрел на него.

— Да, вкусы бывают разные, Андриан Модестович.

— Пожалуйста, не Андриан, а Адриан, меня матушка назвала в честь римского императора «Адриан».

— Насколько я помню, вы торопились идти гулять, Адриан Модестович, — досадливо сказала Мэри.

— Вот как? — побагровел Попов и глаза его стали круглыми, как у злой крысы.

— Да, — подтвердила Мэри, а он, окинув испепеляющим взглядом Кирилла, вышел.

— Вы пришли, Кирка, вы пришли, — нежно взяла она его руку.

— Зачем вы меня звали в ресторан?

— Ах, пустяки, растрепаны нервы — расскажите, как вы?

— Я? Я, кажется, очень счастлив.

— Кирка, зачем вы обманывали меня? Зачем Вам понадобилось играть в чистоту? Теперь я ни во что не верю.

— Мэри, письмо было подложное. Я нарочно его написал и измял и положил — я хотел, чтобы ваше чувство кончилось, я недостойн. Оно убито — да?

— Подложное? — Мэри побледнела и губы как-то сразу высохли. — Когда вы лжете, Кирка, теперь или тогда? Вы так любите лгать. Я ничего не знаю. Я не могу верить.

— Оно было подложное.

Мэри робко придвинулась к Кириллу и взглянула на него.

— Я вас полюбила, Кирка, в первую встречу за то, что вы не говорили ничего пошлого. Мне так хотелось, чтобы вы были иной, чем все. Теперь я знаю — вы изменились, но я люблю прошлого Вас.

Кирилл задумчиво смотрел куда-то вне.

Мэри помолчала, а потом спросила, прижавшись к его плечу подбородком:

— Кирка, зачем вы были в костеле?

Кирилл вздрогнул.

— Что вы говорите, Мэри?

— Я видела вас.

— Никогда не говорите со мной о католичестве — это все напускное, внешнее. Я так делаю потому, что это модно.

— Неправда. Я видела, как вы плакали и в костеле никого не было, — она взяла его руку, чтоб поцеловать.

— Что это? Откуда у вас бриллиант, Кирка?

У него на левой руке сверкал крупный алмаз в старом серебре.

— Он поддельный, — криво улыбнулся Кирилл, — а я пойду.

Мэри его не удерживала...

Она знала — поддельного Кирилл не надел бы никогда.

— Крашенные губы и алмазный перстень. Крашенные губы и алмазный перстень...

Мэри казалось, что ее душу зажали между двумя жерновами.

Чьи-то губы прикоснулись к ее щеке.

— Это ничего, что вы меня выгнали.

Мэри все равно было, чьи это губы, она так устала...

А Попов больше не тушил электричество.

VIII.

— Посмотрите, какое я получила пальто.

Маня вертелась перед Мэри в новом пальто из коричневого драпа.

— Оно стоит сто пятьдесят. Это мне подарил Розов. У меня дождь испортил шляпу и я не могла с ним идти гулять. Он мне обещал тогда купить зонтик, пришли за зонтиком, а мне понравилось пальто. Правда, хорошенькое? Он вообще на меня много тратит. Вчера ужин в «Стрельне» ему обошелся в восемьдесят рублей.

Мэри молча слушала Маничкины смешки.

— А вы, Мэричка, совсем не умеете жить, привадили этого Попова, ведь у него в кармане свистит да и с физиономии не первый сорт. Вы замуж за него хотите?

— Что вы, — испугалась Мэри, — стать мадам Половой? Нет.

— Тогда совсем не понимаю. Да и замуж не стоит. Вот я вышла за студента по любви, а через семь месяцев разъехались. Знаете, все эти копеечные расчеты, обеды в столовых — фи. Если жить в столице — то нужно и одеться и вообще жизнь возможно использовать.

— Кто это у вас вчера вечером шумел?

— Ах, это студент один. Вы его знаете, такой рыжий.

— Он?

— Ужасный негодяй... Я его принимала не из за материальности, а он мужчина — недурной. Вчера вдруг, я ему это пальто показала, а он — «Проститутка». Какой наглец. Я никогда, уверяю вас, никогда денег не брала. Я его сейчас же выгнала. Конечно, я глупость сделала, что позволила себе ходить с этой Марьей Ниловной, она хоть кого скомпрометирует. Ах, это меня к телефону.

Она убежала.

Мэри потолстела за два последние месяца, а глаза стали какие-то мутные. Она смотрела в окно. Пруд замерз. Мальчишки бегали на коньках и кувыркались. Мелкие снежинки падали на подоконник. Если бы бегать с мальчишками, радостно визжать и барахтаться в снегу.

— Кто у тебя был? — громко спросил еще из передней Попов и округлил глаза.

Он начал смотреть за портьерой и под кроватью.

— Ты с ума сошел, Адриан?

— Я знаю, кто-то был, я по телефону спрашивал Ксюшу. Ты что-то скрываешь. Я хотел его убить, даже револьвер взял у товарища.

— Ты, наверное, стрелять не умеешь.

Они поехали в Петровско-Разумовское. Паровичок шел тряско, как товаро-пассажирский поезд, а утро было снежное и ясное. Вдруг мимо окна мелькнула компания лыжников. Впереди были смеющиеся девушки и один юноша. Весь костюм его был темно-голубой. Из-под шлема, похожего на средневековые, до самых бровей была челка из темных волос, а глаза полевые, как два на лице забытых барвинка. Он тоже смеялся. Его хрупкое темно-голубое тело двигалось легко и быстро.

— Кирилл... — почти шепнула Мэри, а Попов сразу позеленел.

Они вышли, пошли по аллее к пруду. Снег хрустел и от его белизны было ярко на душе.

— Вот человек, который всегда доволен собой.

— О ком ты говоришь?

— О твоём Кирилле. Его, конечно, никогда не терзают мировые вопросы, никогда не тревожит мысль о самоубийстве, но он умеет брать от жизни все удовольствия, сибаритствовать.

— Ты любишь бегать наперегонки?

— Нет, не люблю.

— Я Кирилл любил, — и Мэри побежала по дорожке, а потом по пруду, иногда увязая в снегу выше ботика.

— Это неблагоразумно, — кричал Попов. Она не слушала.

Наконец, он догнал ее, разруганную, и повел под руку по аллее.

— Мэричка, ты сердишься? Посмотри, как ты огорчила своего Адика, посмотри, какие у Адика печальные глазки, Мэричка.

— Я не сержусь, — улыбнулась Мэри радостно от прохлады снежинок, от бодрости ветра. — Мне хорошо.

— Мэричка, а ты женой моей не согласишься быть, а, Мэричка? — прижал он к себе ее локоть и взглянул в глаза.

Мэри немедленно вырвала руку.

— Я раз навсегда сказала, Адриан, я твоей женой не буду и можешь не льстить себе. Я к тебе отношусь, как мужчина к кокотке, ты слышишь? Мне нужно только твое тело. Ты мне доставляешь некоторое удовольствие. Если тебя не удовлетворяет эта роль, можешь уходить.

Она сурово и быстро пошла. Через две минуты он побежал за ней.

IX.

Жильцы в квартире Черепа часто менялись. Уехала Маничка. Она переселилась в большую гостиницу на Тверской. Ее комнату заняла стриженная блондиночка — курсистка Галя.

Уезжала Марья Ниловна. Вещи почти все были сложены. Канарейка, проснувшись от электричества, нелепо чи-

рикала и чистила нос о кусок сахара.

Попов сидел за чаем с вишневым вареньем. Марья Ниловна в розовой блузке счастливо хлопотала.

— Вот, говорят, Адриан Модестович, счастья нет? Как это нет? Вот я и устроилась. Квартирка в три комнаты, но кухонька — одно загляденье. Я сама стряпать буду — страшно это люблю. А через три года денег накоплю и уеду в деревню. Главное, мне кур хочется иметь.

— Вы думаете, у меня счастья нет, Марья Ниловна? Наоборот, такое — что представить нельзя. Когда я в Вильне у матушки жил, я даже возмечтать не мог о таком. Я был банковский чиновник, а Мэри Евгеньевна — дочь дивизионного, да, ди-ви-зионного. А теперь я живу в столице, получаю двести тридцать пять рублей в месяц и обладаю кем? Мэри Евгеньевной... И как она меня любит, как любит... Как-то я обещал ей прийти в семь часов, а пришел в половине восьмого, так она спросила — Где это ты был, Адик? — Вижу, ревнует моя Мэричка.

— Да, это хорошо по любви.

— Смотря, какая любовь. А мы с Мэри созданы друг для друга, мы — дикие дети стихии. Наши души переплелись навсегда. Вот единственно почему она не хочет за меня замуж. Такое, знаете, неверное положение. Развестись с женой, — а вдруг Мэри меня бросит. Тогда ни там, ни здесь. Все-таки ребенок. Пока жену отправил к матушке. Мэри — это особенный человек, особенный. Как! будто не красавица, поставить рядом с Кавальери — она не выдержит, но глаза... вообще прелестная девушка... не глупа...

Мэри уже кончала прическу. Ее позвали к телефону, она подколола прядку и подошла. Сегодня она была нервная и тревожная.

— Кто говорит? Ах, Маничка, очень рада. Отлично устроились? Я приеду к вам на новоселье... Это Розов прислал сапфиры? В Петровском-Разумовском застрелился мой знакомый? Какой знакомый? Этого не может быть, этого не может быть... Он не мог умереть. Не мог...

Трубка выпала и ударилась о стену, каучуковый наколечник разбился.

Ей казалось, что до комнаты Марии Ниловны верста. Ноги были тяжелые и голова тоже. Нет, в голове было все сине и прозрачно, как в окне костела.

Попов посасывал мокрый сухарь, когда она вошла, Марья Ниловна завертывала граммофон.

— Кирилл... Застрелился... в павильоне. В Петровском павильоне...

Она ничего не сказала больше. Села в кресло, опустилась грудью на стол.

— Я побегу за валерьянкой, а вы утешьте.

Марья Ниловна ловко выскользнула из комнаты, а Попов обнял Мэри.

— Успокойся, успокойся, Мэричка. Все пройдет, — мы будем счастливы, ты станешь, наконец, моей женой...

Москва.
Июнь 1916 г.

РАДИ ЖАЖДЫ ЖИТЬ СВЕТЛЕЕ*

Земляческая вечеринка. Уныло ходят и сидят по двум небольшим залам незнакомые группы курсисток в белых блузках и студентов в неудобных воротничках. Среди них неуклюжие прапорщики, в угловатости которых легко узнать непривычных к военному тех же студентов. Другие хохочуи, острят и в темноте пожимают руки.

Коротенький, коренастый, красный, с бабьим лицом распорядитель кричит другому — вихрастому и долговязому:

— Булок нет. Понимаешь, булок нет. Не привезли, — и оба куда-то исчезают.

В зале побольше дама в желтом выкрикивает: «Гай да тройка», а завитой студент-аккомпаниатор за ней не успевает. Скрипач с короткой левой ногой играет что-то жалостливое, маленький студент, высоко махая руками, рассказывает сценки в трамвае.

Скучающие и хохочущие группы равнодушны одинаково к даме, к скрипке, к трамваю, продолжая скучать и хотеть.

— Хором, хором петь, — проносится по залу и так же скучно, равнодушно все сидят, будто это государственный совет, а не студенческая вечеринка. Только человек восемь выходят вперед и становятся, сконфуженно подняв плечи. Маленький чернявый, рассказывавший о трамвае, торопливо замахал руками и нечистые раздались первые звуки песни:

Славное море, священный Байкал
Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.

* Напечатано: «Ежемесячный журнал» (В. С. Миролюбова). № 7, 1916.

И шум стих в залах понемногу. Перестали хохотать и пожимать женские руки — одни, с лиц других сошла скука, смелее подхватывали голоса, вернее, чище звучала песня:

Долго я цепи стальные носил
Долго скитался в горах Акатуя
Старый товарищ бежать пособил
Ожил я, волю почуя.

Глаза разгорались, разгорались голоса и все эти чужие люди вдруг слились во что то общее, праздничное. За этой песней раздалась другая и горели все сильнее голоса:

Юной верой пламенея,
С Лены, Бии, Енисея,
Ради жажды жить светлее
Собрались мы сюда.

Почему-то в пылающих студенческих голосах грусть прозвучала, а тенор как то срывом, будто со слезой, взял ноту и голосу его стало тесно в звенящей зале, он рвался в ширь, в поле:

И с восторгом вспоминая
Ширь Байкала, блеск Алтая.

Красивые слова звучали мощнее. Странны были эти голоса в маленькой комнате:

Первый тост наш за Сибирь,
За ее красу и ширь
И ши-ирь.

Освобожденные от робости, стройные, смелые рвались голоса выше, жарче и пылали где-то высоко звонкие ноты, объединенные в одном ярком порыве любви к своей далекой родине.

— Товарищ!

Стоявший в конце комнаты, прижавшись к окну затылком, откинув голову, как поющая птица, Саша Максимов обернулся и оборвал свой голос на высокой заливчатой ноте. Весь красный, возбужденный пережитым порывом, вопросительно осмотрел перед ним стоящую незнакомую курсистку:

— Дайте заглянуть в ваши глаза, — сказала курсистка.

Она была сильная, точно из камня высеченная девушка. Яркий блестящий взгляд на несколько суровом бледном лице, черное платье с вырезом, строго обнажающим шею. Из-под черного ярко бросались лиловые чулки. На руке у нее были длинные четки.

Саша все еще смотрел недоумело, а девушка грубоватым грудным голосом сказала:

— Я — Марина Гаева. Посмотреть хочу в ваши глаза. —

Глаза Максимова невольно расширились и Марина в них пристально заглянула сияющими коричневыми глазами.

— Больше ничего. Вы — манчжурец?

— Ну.... да...

Она захохотала резко и звучно:

— Так и знала. У вас томность в глазах, как у всех манчжурцев. Я все смотрела, пока вы пели.

И ушла.

— Пойдите.... товарищ, — бросился за ней Максимов, но грубый смех Гаевой уже был слышен в другой комнате.

Красный распорядитель с бабьим лицом хватал за тушку другого.

— Пельмени не готовы, понимаешь, не готовы.

Всю вечеринку Саша Максимов был в радостном, поднятом настроении, его глаза светились торжеством и грудь сама собой выпячивалась вперед. Сознание того, что его заметила, им восторгалась, ведь иначе она бы не подошла, интересная девушка, давало ему торжественную осанку. Проходя мимо знакомых хорошеньких, он шире открывал глаза и пристально всматривался в лица — не подойдет ли эта, не увлечется ли им... Много раз встречался он взглядом с Гаевой. Марина, окруженная сонмом поклонников,

продавала какие-то цветы, чокаясь стаканами сидро, хохотала, а иногда ее коричневые глаза останавливались на глазах Максимова и еще торжественнее, еще радостнее он крутился в вальсе под ее взглядом.

Зазвучала таинственная и жадная мелодия танго. Все остановились. Большинство не умели, а другие не решились выйти в новом танце... Звало жарче горячее танго. Никто не смел. Черная женская фигура с бледным лицом, с полужакрытыми глазами отделилась от пестро-белой стены молодежи.

Никто не решился выйти навстречу Гаевой. Ей пришлось танцевать танго без кавалера.

Но, точно послушная воле ее блестящих полужакрытых глаз, навстречу ей от толпы оторвалась другая фигура — Кеша Бледных, студент с челкой, с нервным вздрагивающим лицом. Приблизился к ней. она положила руку на его плечо и прижалась щекой к его щеке. Их глаза неуволимо прикоснулись. Мужчина сопротивлялся, а она звала его. Знойно журчало танго. Сильными движениями, ленивыми и страстными, зачаровала женщина мужчину. Ее глаза в блеске широко открылись и звали его, он еще боролся, с ненавистью отклонял ее от себя, сжимал кулаки, и вдруг, завороченный страстностью движений ее тела, отдался ей, бледный и горящий. Все призывнее звало танго и в страстной неразрывности, в томящем прикосновении плавно двигались фигуры и снова миг острой страсти, жгуче принало тело мужчины к женскому.

За первой парой уже вторая и третья томились в танго.

А студенческая толпа неистово и радостно кричала:

— Браво, Гаева.

И за Кешей Бледных жадно следили курсистки... Усталый, побледневший, с обрывом музыки танго, отошел он в толпу и глаза его поблекли, хотя пережитое в глубине их еще светилось.

На смену танго внезапно, вихрево-радостно раздалась русская и две пары лихо заплясали. Все плавнее носились девушки, жарче, прытче выделявали коленца студенты. Уже не две пары, а целый хоровод молодежи плясал, ме-

шая друг другу, стуча ногами и все изумительнее и легче несясь в вихре торжественной русской радости.

— Ты чего уставился? — толкнул в бок Максимова студент Даминский, поджарый, как загнанная лошадь, с веселой усталой физиономией. — В Гаеву втюрился?

— В Гаеву? — презрительно сказал Максимов. — Предпочитаю, когда женщины в меня влюбляются...

— А тебе она нравится? — вдруг несдержанно-радостно спросил Максимов.

— Конечно, нравится. Что это Наполеоном смотришь?

— Нет. . . . так



Когда вечеринка кончилась, студенты еще не хотели уходить и в темноте слышался смех и разговоры. Усталые распорядители умоляли и суетились:

— Товарищи, пора расходиться.

Кто-то кричал о потерянных калошах, распорядитель с бабьим лицом грустно осматривал поломанные на вечеринке стулья.

Гаева уходила с целой компанией и крикнула одевающемуся Максиму:

— Идемте с нами, товарищ.

— Согласен, — ответил Максимов и пошел, гордый своей победой.

Кеша Бледных шел под руку с Дулиной и она старательно задерживала шаги, чтоб отстать от компании. Шли все, было три часа, к Гаевой.

Дулину звали Олимпиада Спиридоновна, а сокращенно Оля. Такая была крепкая, румяная курносая курсистка с большим красным ртом, открывающимся рядом крупных крепких сверкающих зубов. В бархатной провинциальной шубке на сером меху. Крепко опираясь на руку Кеши, она говорила сочно и быстро:

— Даминский — слякоть. Я люблю мужчин сильных, больших. Вот мой муж чистый сморчок. Эх, через три дня к нему ехать нужно.

— Можно не ездить.

— А денег кто пришлет? Дура была, за него замуж шла. Знаете, захочу развода, мне сразу дадут. Вот какой муж. Да вы не медик, не поймете.

— Понял, — нагло и холодно сказал Кеша. Она крепко прижала его руку.

— А вы сильный? Подымите меня. Давайте отстанемте.

— Давайте, — захохотал Кеша.

— Вы любите целоваться на морозе?

— Ничего.

Вышли на площадь. Фонарь горел. Разъезжались извозчики.

— Ах, черт их возьми, — заорал Даминский, — они целуются, — и показал на Кешу с Олей.

— Ей Богу, еще ни разу, — крикнула Дулина. — Я уж ему и так и этак предлагаю, а он на морозе не умеет.

Они опять отстали.

— Вы любите ночью смотреть в окна магазинов? — спросила Дулина.

Оба они уставились на витрину и вдруг звонко поцеловались.

У ворот, у дверей, у витрин останавливались и впереди шедшие только слышали их поцелуи, и смотрели завистливо на веселые красные лица.

В воротах у дома, где жила Гаева, распрощались. Дулина ночевала у Марины. Кеша Бледных потащил Максимова за рукав:

— Идемте, Максимов, пора.

Кеше не хотелось больше идти к Гаевой и целоваться больше не хотелось. Но Дулина прижималась к нему крепче, зовущее, а Гаева так грубо-спокойно сказала:

— Что вы остановились? Я переоденусь и пойдем вас провожать. Не кривляйся, Кеша.

Кеша зашел.

У Марины была большая комната с отдельным входом. Точно жил холостяк в комнате. Уныло, голо, без занавесочек, картинок, мебель неуютная. О женщине сказывали только засохшие цветы на стенах.

Как забытые воспоминания — высохшие, запыленные висели хризантемы, розы и осенние красные листья клена.

Кроме цветов, на стене висел завешенный газетой незаконченный портрет. На ярко-красном фоне изображена была Марина в синем платье, с сильно алыми губами.

Кеша не хотел раздеваться, но Дулина стащила с него пальто и фуражку. Села рядом на кушетку с продавленными пружинами.

Максимов примостился на стуле возле Марины.

— Кеша, вы мне нравитесь, — сказала Оля Дулина. — Я счастлива, что вы танцевали танго с моим цветком.

Кеша улыбнулся довольно, но устало, а Дулина, засмеявшись, крепко прижалась к нему щекой и плечом.

— Они не стесняются, — вставил Максимов.

Марина, оглядев сверкнувшим взглядом прижавшихся на диване, подошла к лампе и закрыла ее красным шарфом.

Комната стала сразу похожей на подвал — красный и темный, и таинственно смотрели блестящие глаза Мариного портрета.

Марина вернулась к Максиму и положила руки ему на плечи.

— Ну, Саша, показывай глаза.

Он посмотрел в ее бледное, с чуть вздрагивающими яркими губами, лицо и поцеловал в самый рот.

Невидимые за высокой спинкой кушетки, целовались Дулина с Кешей. И эти хрусткие звуки словно вливались в тело Марины — ее зрачки ширились.

— Я знаю шесть способов поцелуев, — раздался громкий шепот Кешы. — Властный, раздвигающий губы до зубов, потом нежный, в глаза, потом сладострастный — с открытыми ртами, потом....

Слова он пояснял, обнимая крепкое тело Олимпиады, и вдруг примолк, точно испуганная лошадь вытянул шею

и напряг слух. Олимпиада недовольно смотрела вверх на его лицо и, внезапно поняв, охватила руками его голову.

— Ты ревнуешь Марину? Не смей.

Но с силой вырвал голову Кеша и вслушался опять.

Прикрыв глаза, подставляла Марина откинутую голову под поцелуи Максимова и, стиснув рот, шептала:

— Расскажи, как тебя целуют, Расскажи, как целуешь ты.

Кеша жадно вглядывался в полутьму, в выделявшиеся на постели головы и вдруг внезапно, громко, ясным голосом продекламировал:

«И все невозможно, и все невозвратно.

Несбыточней бывшего нет ничего.

И ты, вся святая когда-то, — развратна.

Развратна — не надо лица своего».

— Ну, что неправда, то неправда. Святой я никогда не была, — грудным тембром сказала Марина, а Кеша, упав головой на плечо Дулиной, обнажил и целовал ее шею крепкими частыми поцелуями.

— Кеша, ты любишь Марину?

— Нет...

— Так чего же ты ревнуешь?

— В мечте рисуешь себе отдельных прекрасных женщин принцессами. И вдруг принцесса — окажется подобной всем, — нарочно, для Марины громко, сказал Кеша Бледных.

Оля зажала его рот поцелуями.

Уже прошло два часа. Город все больше тишал. Поцелуи в комнате, освещенной красной лампой, шелестели и хрустели, иногда стихая.

Кеша устало положил голову на грудь Дулиной.

— Ты чего смолк, Кеша? Мне нравится, когда ты декламируешь.

— Пупсик, мой милый пупсик, — напел Кеша. — Декламировать я не буду больше. Оля, отчего ты не подводишь глаза?

— Что ты?

— Я люблю подрисованные глаза. «Без косметики пресны лица».

— Ах ты, футурист проклятый, — захохотала Оля. — А мне нравится, что ты футурист, ей-Богу.

Прильнув к нему грудью, Олимпиада шептала:

— Хочешь стать моим любовником?

— Нет.

— Почему? — еще крепче прижалась она, а он, нагло на нее глядя, сказал:

— Если тебе очень хочется, то сейчас я согласен, но позже — никогда.

— Сейчас? — переспросила испуганно Олимпиада, — а они?

— Чего там стесняться — свои люди, — громко сказал Кеша и почувствовал с ужасом под руками совсем покорное тело.

Марина отодвинулась и сняла с Максимовской шеи свои четки, которые в начале ночи сама надела ему.

— Саша, иди зажги свет.

Максимов нехотя встал, зажег. Встала и Марина, спокойно вынула шпильки, расчесала волосы, за ширмой надела капот и опять легла. Максимов подошел, обнял ее плечи и хотел целовать, но Марина своим грубым голосом проговорила:

— Довольно, я люблю, когда меня целуют, но больше не хочу.

— Когда женщина противится, значит, ей нужны более крепкие ласки, — изрек Максимов, наклоняясь к ее рту.

— Что ты сказал? — усмехнулась Марина. — Раз мне надоело, не приставай, — и, поведя сильным плечом, отбросила слабую руку студента.

Максимов, обозленный, отошел в другой конец комнаты.

— Скажите на милость.

Кеша, как зажгли свет, отсел от Дулиной, но она пришла и положила голову на его колени, задремав.

— Ну, гости, пора спать, — сказала Марина, — прощай, Саша, — протянула она руку Максиму.

Тот, надутый, подошел.

— На прощание можешь, — подставила Марина рот сразу прояснившемуся Саше. — Только уходи скорее. Спать хочу.

Максимов обертывал шею кашне, а Кеша, нагло хлопнув Дулину, проговорил:

— Пусти, Оля, пойду.

Оля спросонья пробурчала:

— Ты такой же грубый, Кешка, как все. Даром что футурист.

— Постой минутку, Кеша, — остановила его Марина.

Максимов многозначительно потряс руку Кеши и вышел, сказав на Марину глазами:

— Получай, милый, мои объедки.

От этого взгляда Кеша побледнел.

Шарф сняли с лампы и комната, освещенная желтым светом, была опять голой и неудобной. В комнате — Кеша стоял возле Марининского кресла, а Оля, некрасиво скорчившись, спала на диване.

По уходе Максимова Кеша наклонился к Марине и начал целовать ее шею, а потом хотел прикоснуться к губам.

Марина устало отвела рот.

— Нет, Кеша, я тебя целовать сейчас не хочу, может быть, когда-нибудь, скоро, захочу.

Кеша заглянул ей в зрачки, приниженно взял ее руку и приложился, точно к иконе.

— Прости, Марина, я поцеловал тебя губами, запачканными вон той.

— Эх, не то, Кеша, не то...

— Марина, ты его не любишь больше?.. Андрея?..

— Не-ет. Он, знаешь, не яркий день, которого я ждала, а так, тихие сумерки.

— У него душа красивая, Марина.

— Что?... Да-а... Только, знаешь, тихая очень, без огня. Кеша, он мне каждый день пишет и все просит старое вернуть. Не возвратишь. Знаешь, он эфир в себя пускает, вчера, говорит, целый стакан впрыснул — а не подействовало.

— Ты слыхала, Марина, — Кожухова отравилась.

— Наша — сибирячка?

— Н-да... Вот и Андрей. Ведь работники какие были. Почему это все?

— Я сама была эфироманкой. Только полгода избавилась. Полгода <как> вопрос решила, что стоит жить. Жить с другого конца.

— А я не знаю, Марина, с какого конца вернее жить. Душа, мысль — дают одно страдание, а вот в теле, правда, много радости...

Замолчали. Улица снова начала шевелиться. Снег за окном смешался с мелким дождем.

— Марина... — спросил Кеша Бледных. — Марина... скажи мне — тебе нравится Максимов?

— Что? — рассмеялась Марина. — Он? Соленый огурец.

— Соленый огурец? — захохотал Кеша Бледных и смолк. — Ты часто, Марина, приводишь к себе?

— Да. Как заскучаю. А потом избавлюсь. Я еще засмею его, издеваться буду — ведь он себя победителем возомнил... Я взяла его к себе, потому что у него на лбу волосы похоже лежат, как у одного моего бывшего.

Кеша задумался.

— Это красиво жестоко, Марина. Привести незнакомого, взять от него поцелуи, выбросить его и издеваться. Марина, что ж ты дашь настоящему, любимому, когда он придет?

— Я устала, Кеша, понимаешь ты? Устала. По-настоящему я любить не могу. Года два назад я встретила одного студента. Я его знала мало, но полюбила, я ему писала письма, что люблю его, он не отвечал. А потом он сам пришел и после двух встреч я его прогнала.

— Он был интересный человек'?

— Не знаю я... Нет. У него было интересное лицо. А потом Андрей. Андрей давно меня любит. После моего краха я стала ему отвечать. Ласки хотелось. Но не могу я. Устала. Я любить не могу. Если и придет — единственный — сил не хватит руки протянуть.

В окне светать начало. Где-то внизу в доме слышались шаги и стук дров, которые кидали в печь. Кеша Блед-

ных взволнованно ходил по комнате.

Марина подняла что-то с пола и вдруг захохотала грудным смехом.

— Неужто это ты, Кеша? Какой потешный.

Кеша подошел. Марина рассматривала его карточку на студенческом билете.

— Это три года назад, в восьмом классе.

— Какой потешный, волосы назад. Почему ты не носишь такой прически? — сказала Марина, глядя на Кешину челку.

Кеша грустно посмотрел на карточку:

— У меня волосы вылезли, Марина. Нет, ты пойми: воло-сы вылезли. Вот и все. А здесь драма. За три года я стал неузнаваем... до смешного. Марина, я приехал сюда с густыми волосами и румяный, а теперь? Ты смотри на меня... А с моей души тоже сполз румянец и она тоже оплешивела, — вдруг остановился:

— Марина, ты подводишь брови?

Марина кивнула головой.

— У тебя тоже есть карточки, где ты смешная, наивная, но без подведенных бровей. Вот мы приезжаем в столицу — румяные, густоволосые, с полными душами, с яркой волей. Каждую осень тысячи нас приезжают. А что остается? Кожухова застрелилась. Андрей эфироман, Димочка на содержании. А мы с тобой, Марина? Нас тянет столица на огонек, за три года мы отдаем ей всю молодость. Из Сибири «юной верой пламенея, ради жажды жить светлее» пришли сюда. А что получили? чему научились?

Кешины губы перекривились.

— Я умею писать футуристические картины и танцевать танго, ты подводить брови и танцевать танго. Мы не любим по-настоящему, а разжигаем себя из любопытства приведенными с улицы. Мы не можем целовать чисто и радостно, потому что мы знаем шесть способов поцелуев. А в промежутках бьемся по урокам и не обедаем неделями.

Сжав руки, сидела в кресле Марина.

— Кеша, ты помнишь лыжи?

И оба вместе, совсем одновременно, вспомнили удивительно ясно и определенно, как в мороз они убегали на лыжах.

Когда было тридцать градусов — в гимназиях по случаю морозов не учились. С семи утра они следили, чтоб градусник не повысился, потом, торжествующие, разглядывали, сквозь туман, красный шар на каланче — признак того, что «не учиться». Кеша забегал за Мариной и, как мальчишки-близнецы одного роста, тонкие, в одинаковых куртках — мехом вверх, и шапках-ушанках, закрывающих все, кроме глаз и носа, они быстро шли за руку к реке, таща на спинах узкие лыжи. Прямо с крутого берега спускались на белую реку и бежали, быстро двигая ногами.

Тихий безветренный мороз захватывал дух, грудь вздымалась все выше, щеки розовели, глаза горели, отражая нежный блеск и они мчались, перебирая палками, ловкие, смелые, через реку, казавшуюся океаном снега.

Обь около города была с версту шириной и за Обью, как гигантский сугроб, поднимался остров. Марина с Кешей огибали остров и бросались прямо на сугробы, смеющиеся, счастливые.

Город сумрачный и нудный чернел срубами где-то далеко, они двое были одни среди сугробов и елей, серебристо-зеленых от инея. Разве знают на юге сказочную роскошь севера, где снег бриллиантами и серебром превращает в сказку каждую ветку, в замок каждый бугорок, где ветер, жгучий и ласковый, вдувает бодрость и жизнь в грудь, румянит губы и щеки.

Марина и Кеша любили лежать так на обрыве острова, смотреть на сверкание снега в лучах зимнего солнца, дышать полной грудью, пока мороз не защищает нос и на щеках не появятся белые пятна, тогда вскакивали, снегом оттирали лица и начинали кататься с обрыва, барахтаясь. Лыжи часто сплетались концами и оба с размаха окунались в сугробы и снова выныривали и снова катились счастливые.

Там, на обрыве острова, замороженные молчанием заиндевевших елей и алмазным блеском снега, глядя на яр-

кое холодное круглое солнце, они сказали однажды:

— Как хорошо, как хорошо.

И совсем нечаянно их губы приблизились в долгом поцелуе.

Они словно удивились, что раньше могли не целоваться и поцелуи их стали такими же частыми, как морозы в 30 градусов. Еще более радостные носились они вдвоем по обрывам, по реке, гладкой и широкой, как океан. А кругом лежал бесконечный сверкающий радостный покров снега, незапятнанный.

— Кеша, неужели мы запутались совсем в столичном тенете? Эфир, самоубийство или содержание?

И, точно пробужденный бессильным вопросом сильной, точно из камня высеченной девушки, Кеша придвинулся к ней и взял ее руку в свою.

— Марина, посмотри в окно. Здесь снег бурый, талый, заплеванный. А мы — из Сибири. Мы привыкли к белому, без пятен. Марина, уйдем отсюда, пока совсем не запутались. А то побуреет и мы, и нас заплуют.

У нас на Алтае не танцуют танго, но умеют любить. Мы пришли сюда неоперенные, не знающие, что нужно здесь взять, что нужно...

Мы должны узнать. Вернемся назад, вернемся в Сибирь. Марина, ты не соскучилась по морозу? Тебе не хочется увидеть настоящий белый снег, а не рыжую московскую слякоть? Тебе не хочется опять убежать на лыжах куда-то далеко за город, от людей, к тайге, к замерзшей реке, к сугробам и мечтать о новом начале жизни?

Рассвело на улице. Где-то за домами звенел и стучал трамвай. Мелкий зимний дождь колотился в окно. Некрасиво скрючившись, посапывала на диване Оля.

— Ты не совсем прав, — сказала Марина, взглядывая на свои руки. — Москва нас научила одному. Научила любить незапятнанный снег и Сибирь.

1916 год. Январь.
Москва.

ДЕНЬ СТУДЕНТА ДИМОЧКИ

Стеганое шелковое одеяло зашевелилось и из-под него показалось небольшое мягкое личико. Голова пробовала улечься помягче и удобнее на мягкой горячей подушке, но по ленивым гримасам можно было понять, что уместиться и заснуть ей не удастся.

Наконец, из-под одеяла высвободилось все лицо и мокро-зеленоватые большие глаза открылись совсем. Диме было девятнадцать лет, но лицо его, обычно женственно-миловидное, сейчас смотрело старым и поношенным. Голое, безусое, маленькое, с кожей вялой и белесо-зеленой, как студень, с тяжелыми, толстыми и медленными веками. Диме было лень потянуться, и он лежал неподвижно, потом поднял свою тонкую девичью руку к коробочке на ночной тумбе. Он натер длинные заостренные ногти особой сильно пахнущей пастой и стал растирать их палиссуаром, помогая костяными палочками — пока ногти не засверкали розовым лаком. Потом спустил ноги с кровати и, апатично подняв свое тело, присел. В комнате кисловато пахло сном, некурящим мужчиной и вялым телом. Дима любил этот запах, исходящий от него и от простынь.

Он медленно снял длинную ночную рубашку и окинул свое мягкое светлое тело, еще мальчишеское, но уже смягчающее жирком. Тело пошло гусиной кожей, и он зябко накинул халат. Нехотя встал с постели, взял часы.

— Уже полвторого, — он впервые потянулся, прошел раза два по комнате:

— Фу-у, ску-ушно, — и вышел.

В доме было молчание. Дима заглянул на кухню, в детскую, но везде было пусто. Он вошел в спальню квартирной хозяйки.

Марья Антоновна спала, ее полное распутившееся тело под легким одеялом обтянулось, грудь колыбалась ровно, рот приоткрылся, дыхание немного свистело, рука свесилась. Дима тихонько подошел и вдруг проворно и боль-

но дернул за палец Марью Антоновну.

— А-ай, — испуганно сказала она и заморгала непонимающими глазами. — Как не стыдно, Дима.

Дима внезапно щипнул ее за шею так больно, что она вскрикнула:

— Ты опять щипаться. Пошел от меня.

— Вот как?

— Пошел, конечно, издевальщик.

Дима хотел поцеловать ее, но она плашмя ударила его по щеке. Он, обозленный, вышел. Но и злость скоро сошла с его лица. Он зевнул во весь рот.

— Ску-ушно.

Опять зашел на кухню.

— Варите какао, Аннушка.

— Ладно.

— Скорее, — сказал Дима и пристально посмотрел на круглую красную девку.

— Аннушка. Это что у тебя?

— А еще студент, — сказала Аннушка и отошла от него угрюмо-спокойно.

— Скушно, Аннушка.

— Делом бы занялись, так не скучали бы.

— Не хочется, Аннушка.

— Идите вы от меня, а то ваша Миликтриса со свету меня сживет.

— Ой, скушно, Аннушка.

В гостиной на диване сидела кошка. Дима сел рядом, просматривая газету. Кошка была беременная. Ей было тяжело. Нелепая и громоздкая лежала на боку, сопя. Дима вдруг увидел ее хвост. — Маруська, Машка, — сказал он ласково и сжал двумя пальцами кончик хвоста. Машка жалобно пискнула, он сдавил еще. Она опять запищала. Дима то сдав-

ливал, то отпускал хвост, кошка визжала и, наконец, вцепилась в его руку.

— Ах, тварь, — Дима кулаком в живот спихнул кошку с дивана. Та поползла куда-то.

Аннушка побежала на звонок. Дима подставил ей ногу, и она чуть не упала, ударившись руками о дверь.

— Какой вы, Дмитрий Иванович, злой да бесстыжий.

— Как ты смеешь, хамка?

— Я говорю, какой бесстыжий вы — настоящий живодер.

Негодующая Аннушка пошла отворять дверь.

— Это безобразие, Димка, свинство! — затарахтел быстро и высоко маленький студентик в тужурке с погонями и славными коричневыми глазами.

— Што-о?

— Спишь до трех часов.

— Мы всю ночь до восьми утра в железку играли.

— Стоило приезжать в Москву для железки. Одевайся, Димка, и идем.

— Куда?

— Как куда? Сегодня же общее собрание.

— Не люблю я этого землячества, — скушно.

— Понимаешь, мы хотим устроить столовую на кооперативных началах.

— Надоело. Ты ведь тоже ничуть не увлекаешься этим. Так, напускаешь на себя.

— Ты с ума сошел... Кооперация, объединенное студенчество огромные горизонты. Вообще, Димка, не понимаю. Ты страшно опустился. Бабы, карты и это теперь-то. Безобразие. Жить в Москве и так...

— Знаешь, Юрченко, я сейчас закрыл глаза и мне показалось, что это совсем не ты говоришь, а какой-то господин в очках и с козлиной бородкой.

— Почему с бородкой?

— Как странно — ты слово в слово повторяешь, что Тихонов, а Тихонов, что Саша Максимов, и все вы точно не живые люди, а розовенькая брошюрка. «Кооперация, демократизм и студенчество. Цена пятнадцать копеек». В чем

твое убеждение, скажи?

Юрченко от негодования поперхнулся.

— Возмутительно. Нужно бороться с бюрократизмом, агрегаты культурной интенсивности. Вообще безобразие — заняться университетом — скушно, помогать раненым — тебе надоело, вот и кооперацией. Зачем ты живешь? Бегать за бабами, есть и дрыхнуть? Свинство.

— Да, я — эгоист и живу для себя.

— Врешь. «Я — эгоист»?... Но и это — неправда. Для себя — это значит, для своего искусства, тела, для спорта, может, но только не дрыхнуть. Общественный паразитизм.. Смотри, глаза заспал, жиреть начал. Безобразие. Идем в землячество.

— Может, я и пойду, ты посиди пока. Нельзя же сразу идти.

— Прямо обломовщина какая-то.

Юрченко был красный и вихор смешно колыхался у него на лбу. Вошла Марья Антоновна, вся распухшая спроне, с мешками у глаз.

— Здравствуйте, Иван Викторыч.

— Мое почтение.

— А Дмитрий Иваныч вчера в карты пять рублей выиграл.

— Теперь магарыч с него нужно, — старался попасть ей в тон Юрченко.

— Какая игра была, Иван Викторыч, просто страсть. Адриан Семеныч двадцать пять проиграл, Анна Афанасьевна тринадцать с полтиной.

— Откуда они деньги берут, безобразие. Ведь Адриан 40 рублей в месяц с матери тянет. Не понимаю.

— Откуда деньги берут, — засмеялась насмешливо и просто хозяйка, — Адриан-то ведь с Верой Алексеевной живет.

— Ну что ж, я свободный брак понимаю. Но разве это — заработок?

— Какой вы странный, — опять засмеялась Марья Антоновна. — Ведь она пожилая.

— Неправда, — воскликнул, и в его глазах готовы были появиться слезы. — Это ложь на нас. Я не понимаю, поче-

му студентов обвиняют во всех гадостях. Раньше, в семидесятих годах, этого бы никто не сказал, не посмел бы... Гадость какая. Вы знаете, Марья Антоновна, сейчас я беру извозчика — нужно торопиться было,— и торгуюсь. Говорю: «Со студентов стыдно брать». А он:

— С кого же, как не с вас? Вы быстро заработать можете.

— Как это быстро заработать? — спрашиваю. — Нам вон пять рублей в месяц за урок платят.

— Пять в месяц? Хитрый вы барчук! Вы молодой, а в Москве баб много, есть и с деньгами.

Так мне гадко стало, а теперь вы.... Только это ложь. Я знаю десятки студентов.... Я бы такому ни за что руки не подал. Клевета это.

— Клевета? — подняла бровь Марья Антоновна. — А вы знаете, что Дмитрий Иванович мне за Рождество не заплатил?

— Что?..

— Дмитрий Иванович на Рождестве на месяц уезжал, комнату за собой оставил, а денег ни-ни. Конечно, я бы сказала ему, если бы у нас были другие отношения, но теперь неловко.

Дима внес чашку какао, начал пить.

— Гадость. Эта Анна всегда не доложит сахара. Анна, Анна-а!

— Чего вам?

— Это не какао, а помой, варите новое. Я говорил — больше сахара надо, — и он выплеснул какао в полоскательницу.

— Лучше бы я выпила, а то добро выплескиваете, — бурчала Анна, убирая чашку.

— Прощай, Дима.

— Ты уже?

— Я тебя долго ждал.

— Я, может быть, пойду.

— Выясняй скорее.

Юрченко стоял, опустив глаза, и левый край губ его немного вздрагивал.

— Лень одеваться — вот что.

Юрченко подошел к Диме, мучительно подняв нервные глаза, на мгновение остановился и протянул ему вздрогнувшую руку. Подошел к хозяйке.

— Прощайте, Марья Антоновна, по одному не судите всех.

Он вышел быстро, и в последних звуках его голоса слышалось зачатие слез.

— Вы, Иван Викторыч, еще молоды, чтоб поучать, — бросила она ему вслед. — Скажите, нравственник какой вышел. Вы тут ушли, так он язык распустил. Мы, мол, студенты — все честные, а вы бесчестные. Скажите, лорд Джек какой.

— Он вообще любит обличать. Меня ругал, говорил — одними бабами занимаюсь, опустил.

— Будто молодому человеку нельзя и увлекаться? Просто ему завидно, что я вам принадлежу, а ему надо по урокам бегать.

— У нас обед скоро?

— Ведь вы завтракали сейчас.

— Уж очень скушно, Марья Антоновна.

— Подождите, мальчики придут. Сегодня меня Пьерчик рассмешил, рассказывает по секрету: — Я видел, как ты третьего дня на площади с Дмитрием Ивановичем на лихача садились. Он тебя обнял за талию и покатили.

— Чего ж ты, Петушок, не окликнул нас?

— Я думал, мама, это неловко.

Какой смысленный мальчуган, а ему всего десять лет. А Александр, тот еще вчера говорил:

— Ты, мама, еще молодая, пользуйся жизнью, не упускай.

Меня вот беспокоит, что он за Таськой ухаживает. Я вчера смотрю — ногой ей ногу жмет, как большой.

— Не вам о его нравственности заботиться.

— Как не мне, я же мать. Если б у меня девочка была, я бы строго ее держала, как в монастыре. Не дай Бог, чтоб как со мной случилось.

У нее распахнулся капот, Дима припал щекой к ее груди, потом начал целовать ее пудреную щеку.

— Дима, Димоцка, — зашепелявила она таким тоном, как говорят с маленькими детьми и с маленькими собачками. — Димоцка, кис, кис.

Димочка обнял ее, чмокая лениво, как пьяный, пьющий уже нехотя, но не могущий оторваться.

— Ну, пойдем ко мне, — потянула она его в свою комнату, — а то Анна увидит.

Дима, шатаясь, разморенный, пошел за хозяйкой.

— Надоело-о.

Дима лениво захватывал ее кожу двумя заостренными пальцами и вывертывал, как перед этим хвост кошки.

— Оставь, я закричу... Больно, больно.

— Мхы... — бурчал Дима. — Пора обедать, иди скажи Анне.

— Сейчас.

— Ну скорей, я хочу есть.

Марья Антоновна застегнула капот и, полурастерзанная, вышла. Из кухни слышался ее вскрикивающий голос:

— Всегда у вас не готово. Все самой надо делать... Зачем же тогда прислугу держать? Только дармоедничать умеешь.

Дима зевнул, протянул руку к столу, взял спичку и, заострив, начал ковырять в зубах. Взял пятикопеечный журнальчик со стола и лениво начал читать в седьмой раз один и тот же рассказ.

— Забавно.... забавно.... — говорил иногда он и листал страницу.

Анна загромыхала в столовой, студент, запахивая халат, прошел туда.

Кончали обед. Дима крикнул:

— Анна, воды.

Она принесла чашку, похожую на блюдце.

Дима поставил перед собой чашку, отглатывал из стакана, полоскал рот и сплевывал в чашку. Марья Антоновна спокойно глядела, пожевывая крем.

— А дети где? — булькнул сквозь воду студент.

— Верно, на каток из гимназии пошли.

— Час который?

— Половина шестого... Пойдешь в кино?

— Лень что-то.

— Все равно ведь одеваться надо.

— Ладно, пойдем.

Он встал, кряхтя, и пошел к себе. Оба занялись туалетом, переключаясь в открытые двери. Дима сбросил халат и покрыл лицо густым слоем пудры, потом опрыскал волосы одеколоном и взялся за чистый воротничок. Он был чистоплотен по привычке.

Марья Антоновна, наоборот, не мылась по три дня. Сальное лицо она помазала кремом и потом, как Дима, осыпала его пудрой, вся побелев. Взяла мастику и губы ее вдруг заблестели непривычной розовостью, а брови и подглазницы потемнели от коричневого карандаша. Не причесывая спутанную голову, надела модную шляпку с лихим эгретом и кое-как подколола под нее трепанные волосы. Пришла Анна и начала утягивать барыню в тугой корсет. Девушка покраснела вся и лоб ее запотел. Барыня старательно вдохнула в себя живот, и Анна, напыжившись в последнем усилии, затянула корсет.

Барыня могла дышать теперь только короткими мелкими вздохами. Чтоб казаться тоньше, она не надела кофту и прямо на лиф натянула жакет, накинув на шею рыжее боа. Минут десять <Анна> вталкивала барынины ноги в маленькие жмущие башмачки. Наконец, Марья Антоновна выплыла, мелко перебирая ногами, тесно обутыми в узкую обувь.

Утянутая, в модном каракулевом саке и дерзкой шляпе, сверкая под вуалеткой мазаными глазами, губами и тебовскими серьгами, она вдруг стала манящей, влекущей своей доступностью.

Когда Марья Антоновна шла, опираясь на руку студента, склонившегося к ней, то располагающий изгиб ее тела как будто притягивал к себе, и все проходящие мужчины старались поглубже взглядом впиться в ее тело.

Дима ухмылялся, ему приятно было, что мужчины завидуют ему — обладателю этой разжигающей и нарядной женщины.

Женщина улыбалась и смеялась особым густым смехом не для Димы, не оттого, что ей было смешно, а как бы звуком своего голоса призывая проснуться похоть встречных мужчин.

Они вошли в дверь под пестрым фонарем и поднялись по лестнице в кино.

Красный бархат лож и золото экранной рамы облезли и отсырели. Громадная люстра, потемневшая от пыли, опускала сотни стеклянных сосулек, убого нарядных, теперь с отбитыми краями и грязных. Запыленные искусственные пальмы нелепо стояли в дверях.

Публики было много. Сидели в пальто, изнывая от сырой духоты. Бегал мальчишка с галунами, прыская из грязной склянки чем-то сладко-пахучим.

На стенах сияли плакаты с лиловой, синешекой дамой. Была под дамой надпись «Несравненная Дузе кинематографа, г-жа Аста Нильсен». Дима лениво держал программу. Он громко сказал: «Смотри, какая чепуха написана. “Кто без греха, кинь в нее камень” — траги-потрясающая драма в 1500 метров. Трогательный сюжет при виде игры Асты Нильсен».

Свет потух. Дима зевнул и начал глядеть, иногда в темноте инстинктивно пожимая руку Марьи Антоновны.

В тысячный раз кинематографические завсегдатаи смотрели добродетельную драму аристократической девушки, ставшей проституткой, которую спас, женившись на ней, добродетельный адвокат. Четыре убийства, два самоубийства, пожар, спасение утопающей и гибель злодея.

Марья Антоновна иногда всхлипывала и жадно следила за картиной. В финале, когда «падшая» вышла за благородного господина, Марья Антоновна уже вытащила платок

и собиралась зарыдать, но в этот момент увидела, как Дима дул на шею девице, сидевшей перед ним, стараясь завоевать ее внимание. Слезы были вытерты платком и разгневанная Марья Антоновна схватила Димину руку.

— Опять, опять, мальчишка.

Дорогой из кинематографа они молчали, идя под руку. Уселись в трамвае рядом.

Вдруг Дима из любезности уступил свое место пожилой даме, наступившей на ногу Марье Антоновне. Та совсем побелела, а Дима ушел на площадку и стоял. Марья Антоновна ясно видела, что он заговорил с блондинкой.

«Наверно, та самая, которой дул на шею».

Когда выходили из трамвая, Марья Антоновна бросила Диме: «Рыцарь тоже, дамам уступать место вздумал».

— Что ж тут дурного?

— А то, что вы развратник и даже дон Жуан. И стыдно и безделикатно очень.

Разгневанная дама села на извозчика и уехала без него.

Когда Дима вернулся, в столовой уже было накурено и сидели человек десять. Шлепали карты, и глаза начинали разгораться азартом, руки трепетать.

— Вот и Дмитрий Иваныч, — воскликнула жеманно дама, желтая вся, начиная с волос и зубов до белков глаз включительно. Прическа ее вздрогнула. Прическа у нее была навесом, с буколькоками, а кофта на ней из лилового шелка.

— Дмитрий Иванович кончил свои похождения, — съязвила Марья Антоновна.

— Ну-с, вы сколько ставите, Анна Афанасьевна? — спросить белесый студент с лохмами желтую даму.

— Пятачок, как всегда.

— Курочка по зернышку клюет, — повторил в сотый раз студент с брильянтом в перстне, — муж крашеной дамы в

боа. Крашенная дама была вся в золоте. Огромные серьги колебались в ушах. На груди сияла брошь, похожая на жабу, ниже — медальон, а почти на животе золотые часы. Дама была бывшая шансонетная певица, женившая на себе двадцатичетырехлетнего краснощекого, плотного студента. Рядом сидела ее сестра, молоденькая, подрумяненная девушка с челкой, а еще дальше — два сына Марьи Антоновны — гимназисты,

— У меня 21, — радостно вскрикнул студент.

— Ужасно, ужасно, постоянно вы меня обыгрываете, Сергей Сергеич, — жеманничала дама со навесом.

Студент с брильянтом опять острил: «Вам в любви везет».

— Куда уж нам. Вы знаете, какой у меня реприманд вышел? Ужасно, ужасно. У нас наверху живет такой студент, ну, знаете, брюнет. Мы с ним на телефоне в швейцарской познакомились. Раза два всего и разговаривала. На днях я выхожу из дому, вдруг он с товарищем. Ну, подходит он ко мне, здоровается и говорит: «Мне вас на два слова». Я ухожу с ним. Он спрашивает: «Не пойдете ли в биоскоп?» Я ему — «Нет, не могу сейчас». Он вдруг как заговорил громко: «И ты после наших отношений не хочешь со мной. Я тебе приказываю». Это нарочно, чтоб товарищ слышал — ужасно, ужасно. Я обомлела вся сначала, а потом говорю: «Нахал» и ушла. Я с ним два раза и говорила всего. И все для чего затеял-то? Чтобы показать товарищу, будто у него дама-любовница, погордиться. Ужасно, ужасно.

— Ой, Сергей Сергеич, следите за брюнетом, — подмигнул белесому муж певицы.

— Да, учащаяся молодежь стала нестерпимо развратного поведения, — хрипло сообщила певица.

— Вам банковать, Анна Афанасьевна.

Желтая дама с навесом засуетилась:

— 20 копеек в банке. Больше не ставлю, а то не везет, ужасно не везет, ужасно, ужасно.

— А почему Веры Карловны нет?

— Вы по банку? Вера Карловна? Это я потом расскажу... Сорвали... Ужасно, ужасно. Знаете, Вера Карловна ведь

поссорилась с этим жильцом, с этим, знаете, блондинчиком. Поссорилась и говорит: «Если у нас не возобновятся декабрьские или январские отношения, то до свидания. А он говорит: «Никуда я не поеду, пока экзамен не сдам». Просто ужасно.

Появился коньяк.

— Откуда это коньяк, Марья Антоновна, в такое время?

— Это уж жена, наверное, постаралась. Она ведь того... продает, тайком, — опять залился студент с брильянтом. Его смех был похож на ржание и весь он, с широкими подвижными ноздрями, крепкий, румяный, напоминал раскормленного и застоявшегося жеребца.

— Жорж, ты опять меня компромиссируешь.

— Ах, какой пассаж, мадам Компромисс.

— Жорж, Жорж, — уже грозно окликнула дама в золоте, сложив на бюсте свои жирные руки. Тот притих.

— Еще, еще дайте... вот так.

— Остановлюсь... 17 у меня.

— А у меня 19.

Карты шлепали. Перестали говорить. Появились бумажки, а серебро лежало грудками. Все жадно смотрели на карты и дрожащими пальцами их перебирали. Пятнадцатилетний гимназист, барышня с челкой, три студента, квартирные хозяйки, шансонетная певица — все одинаково злобно и жадно смотрели на карты.

Лица ожили, сплетни перестали интересовать, глаза проснулись. Уже к трем часам подошло, а не замечали.

Шура-гимназист и девица исчезли незаметно, но потом Марья Антоновна углядела и закричала:

— Александр, пойдی сюда, Александр... Шурка.

Наконец он пришел — красный.

— Где ты был?

— Мы с Олей руки мыли.

— Чистота вас заела.

— Не дадите детям пошалить, — вступилась певица.

— Шалить... ему 15 лет, а развратничает.

— То есть как это?.. Что вы хотите сказать? — разгневалась певица.

— А то, что не потерплю я в своем доме разврата.
— Здесь моя Оля, а не разврат.
— Вчера он ей ногу жал, и целовались они.
— Да как вы смеете. Моя Оля....
— Что ваша Оля? Вы рады разврат ее поощрять. С офицерами ее к Яру посылали. Я знаю ведь. Все для того, чтоб он, — Марья Антоновна указала на мужа певицы, — не бегал за ней. Все равно не отшибете.
— Если вы так, то и прощайте. Жорж, одевайся. Сама с Димочкой спит, а людей срамит.
— И чтоб больше вы здесь не бывали. Вам в ресторанах только и место.
— А вы...
Дверь захлопнулась за гостями.
— И мы пойдем, Сергунчик, пойдем, — сказала желтая дама белесому.
— Что же, посидите еще, — успокоилась, как ни в чем не бывало, Марья Антоновна.
— Нет, уж пора. Сергунчику завтра в университет.

Дима к концу скандала ушел к себе, начал раздеваться. Зевал и лень было снимать с себя башмаки, нагибаться.

— О-ох, скушно. Да, папе еще написать. Черт, снова 15 проиграл. У Марьи опять просить неудобно.

Уселся за стол.

«Папка, милый. Писать некогда, — занят все время в лаборатории. Работы очень много. Крепко целую тебя, Лелю, маму. Милый папка, я облил в лаборатории тужурку кислотой. Пришли 25 — будь добр.

Твой».

Перечел и вспомнил так ясно, так близко папу, что захотелось плакать. «Какой я негодяй, ах, какой негодяй, —

они все меня так балуют, любят. Он мне верит, что я учусь, что на 3-й курс перехожу, а я все вру, вру». Почему я не такой, как Юрченко, почему все это...»

И он заплакал по-детски, стало жаль себя, и папу жаль.

— «Вот завтра начну к экзамену готовиться, в землячество пойду, буду работать, жить по-новому».

— Дмитрий Иванович, — слышался за дверью хозяйкин шепот.

Дима притаился — не слышит.

— Дима, Димочка, открой же.

— Буду жить по-новому, по-новому, — еще думал Дима, открывая дверь.

Вошла в капоте хозяйка.

И дверь за собой прикрыла.

1915. Август.
Сибирь.

КОНЕЦ ВЕСЕННЕГО ДНЯ

(Анатолию Микули)

— Я умру одиноким. Понимаешь ли ты?!
Игорь Северянин.

I.

Девушка, нарумяненная ночным ветром, у нее зубы сверкали в улыбке, и высокий студент бежали, взявшись за руки, с горы к кирпичной церкви. Была ночь, но по узкому переулочку спешили люди, почему-то торжественные, а из-под темных женских пальто выглядывали белые платья.

— Вася, на нас все смотрят, — девушка пробовала вырвать руку, но студент не выпускал и бежал все сильнее.

— Мы можем опоздать к «Христос Воскресе».

Церковный двор наполняла толпа, напoмаженная и торжественная. Бежали мальчишки, толкаясь. Приказчики, в лиловых и зеленых галстуках, шептались с девицами и посмеивались. Старушки, которые запоздали, торопливо тискали локтями. Из церкви в церковь бродили кучками студенты и выискивали что посмешнее. Все-таки веяло праздником. Ночь была торжественная, плошки на церкви казались лампадами.

Церковные мужики с празднично намасленными головами вынесли хоругви. Все начали строиться длинной цепью. Где-то ударил колокол. Торжественная мелодия полилась по городу. Люди перестали шептаться.

Через миг все сбились в кучу и толпа, вдруг забыв торжественность, загоготала. Высоко поднялись хоругви. Песня загудела хрипло и визгливо, перестав быгь стройной. Перед крестным ходом мальчишки в церковных облачениях махали синими, зелеными, красными бенгальскими факелами. С колокольни им отвечали, а звон колокольный

стал мелким и трескучим.

Дым факелов окутал толпу и душно стелился по земле, с ним вместе песнь возрождения оседала в грязь.

— Настя, мне стало страшно, уйдемте. Посмотрите издали, точно. кричащие мальчишки с пестрыми факелами и толпа. Ведь из них никто не молится?

— Чего захотели...

— Теперь, Настя, в церковь.

— Зачем?

— Как зачем? Я не понимаю, Настя. Ведь Он — прекрасный. Он — единственный нетленный, недосягаемый. Мы все ползем в грязи чувственности. Он один отверг

А красота унижения. Вообразите себе — Его быют в лицо, плюют, а у него лицо радостное. Ведь унижение высшее счастье

. Я видел статую Людвига Баварского. Он был Лознгрином, он был такой прекрасный, что хотелось мрамора касаться с благоговением, мало было одних взглядов. В порыве рук, во всем движении было стремление к подвигу. Я не заметил, как начал молиться. Перед Людвигом...

— Замолчите, голубчик.

Настя сначала пристально смотрела в зрачки светлых загоревшихся глаз студента, а потом захохотала резко и бесцеремонно.

— Ей-Богу, как расфилософствуетесь, настоящий юродивый. Вон, побледнел, глаза горят, а язык семинарский. В церковь я ни за что не пойду.

Она схватила руку и потянула от церкви. Он не смотрел и, как-то съежившись, молчал.

— Идемте гулять, — Настя, почти касаясь его лица щекой, тянула его дальше.

— Подождите.

— Что? Вы скорее говорите, а то соберетесь с духом и опять начнете тянуть — молитва, красота и прочая...

— Настя...

— Нет! Вы верите и отлично. Держите при себе, а со мной говорите на обиходные темы. Я ведь не блаженная, а только женщина... Барышня даже. Говорите о театре, о чем хотите, только не о церквях, особенно сегодня, сегодня. Разве вы не понимаете...

Настино лицо горело. Помолчали.

— Вы выходите замуж, Настя?

— Я думала — вы никогда не догадаетесь, — а сама отвела глаза.

— Почему вы мне не сказали этого?

— Вы же не спрашивали. Право, Вася, не стоит вспоминать пустяки. «Не зажигай огня, не разжигай любви», — тихо напела девушка. — Еще утром эта фраза пристала ко мне и вот все пою. Даже не знаю, откуда это.

— Настя, а в Польше хорошо, наверное, весна.

— Да, Игнас пишет, сад весь белый.

— Игнас? Я привык, что вы его Игнатием Ивановичем звали.

— «Не зажигай огня, не разжигай любви».

— Вы сошьете себе казакин и будете мазурку плясать с усатыми панями.

Настя обернулась к нему, злая и красная.

— Ей-Богу же, Вася, не нойте, душу выматываете, жить, Вася, нужно, счастья искать, а не ныть. Жалкий вы...

Она вырвала руку и пошла в другую сторону, слегка сгорбившись. Пройдя немного, сердито улыбнулась, зевнула и прибавила шаг.

— Эх, все это весна..

Вася шел быстро и деловито.

«Не зажигай огня, не разжигай любви... не зажигай любви...»

— Какая банальщина, — думал он, лицо его пошло пятнами, а все кругом — дома, улица, грязь, пешеходы — казалось прекрасным.

II.

Настя отворила на звонок.

— По обыкновению, с опозданием?

— Трамвай тихо шел.

— Ладно, рассказывайте там. Сейчас едем. Тетя не поедет. Только Петя с Зоей, да мы с вами.

Вася вошел в переднюю и стал, расставив ноги.

Зоя, гибкая, полненькая спортсменка, быстро прикалывала шляпу-шапочку.

— Еще дождь пойдет — калоши все-таки не надену.

— Логично, — привязался Петя.

— Логично, — сказала Настя, — логично. Сегодня не будет дождя. Сегодня все будет хорошо.

— Ты говоришь, как пифия — значит, влюблена.

— Идемте скорее в лес. Сегодня первый день Пасхи и весна. Разве можно сидеть в духоте, мечтать, читать, ныть? Сегодня жить, веселиться, дышать, — она схватила руку Васи и рванула за собой его длинное, как у журавля, туловище.

Поезд остановился и все быстро выскакивали и рассыпались в стороны, как муравьи.

Зоя приподнялась на цыпочках, чтобы достать сережки с березы.

— Мы и дальше парочками пойдем?

— На то и весна, — хохотал Петя.

— Петя, вы думаете, уже есть фиалки?

— Рано еще.

— А в Польше уже яблони цветут.

— Вы откуда знаете, Вася?

— Да и не все ли равно, что там делается. Мы ведь не в Польше. Смотрите, какой обрыв, а там вон река.

Настя схватила его за руку.

— Бежимте к реке, — и оба покатались по обрыву.

— Вы полетите, там глина, — крикнула Зоя, а они, поскользнувшись, уже лежали внизу.

Все четверо хохотали — двое внизу, двое вверху. Настя вскочила, стряхнула бурые листья и песок с платья, побежала дальше. Он за ней.

— Увязнете, там болото, — кричали сверху, а они уже были далеко.

Ветви, свежие и упругие, ударяли в лицо. Трава выбивалась из-под прелых рыжих листьев. В ложбинке еще бледнели светлые лоскутья снега. Пахли пылко и радостно бурые листья, ветви с зелеными почками, пахла трава, пахла земля. Ветер бил в лицо, шел в грудь и раздувал ее и пьянил. Сверкали глаза, и краснели щеки, губы раскрылись, жадно втягивая касания ветра. Была весна, не жаркая и полная весна, когда распустились листья, зацвела сирень и начали увядать ландыши, когда ветер ленив, а воздух уже сладок. Нет, зачатъе весны, ее возрожденье. Начало обновления... Когда в городе вдруг запахнет навозом, а в лесу проснувшейся рекой.

— Дайте вашу руку, Вася, — она схватила его руку и сжала в своей. — Я не могу одна.

— Настя, слышите вы?

— Это поезд со станции...

— Смотрите вверх.

Две белых стрекозы высоко, высоко плыли над их головами.

— Настя, если бы так же полететь. И никогда не возвращаться.

— И я могу. Бросимся с обрыва и полетим тогда.

— Да, разбиться мы не можем. Мы должны полететь.

— Вот они. Что вы не откликались? Видали аэроплан?

Руки вдруг разнялись сами собой и глаза, почему-то смущенные, опустились.

— Назад. Сейчас гроза будет.

— Хорошо.

Они пропустили тех вперед.

— Идемте же, Вася.

Она протянула руку, он взял ее и, когда они шли, их тела и их руки стыдливо и невольно сливались на мгновения.

Поезд пыхтел уже. Звонок ударил два раза. Зоя с Петей взобрались в вагон. Настя вдруг круто повернула и вошла в другой, он за ней. Встали на площадке. Поезд тронулся. И шел быстро, шумно. Настя спустила окно — ворвался ветер и пар поезда и шум. Она закрыла глаза, ветер пушил волосы. Вася стоял рядом. Совсем близко, и все ближе наклонялся. Ее волосы ветер бросил на его лицо. Она стояла, закрыв глаза...

Губы его один раз прижались к ее щеке.



Поезд остановился. Они вышли из вагона, из другого выскочили те двое.

— Пойдем пешком.

Шли все так же, как раньше, точно не было ничего. Передняя пара говорила, смеялась, шумела, и глаза, и губы их улыбались, и они смеялись, потому что начиналась весна. Настя с Васей шли сзади. Он молчал. И когда не смотрели, он прижимал крепко и сухо локоть к своему телу. Рукой больно сжимал ее руку. Она напевала тихонько.

— Вася, довольно, — даже страхом звучал голос.

— Что?

— Говорите же.

— Я не могу говорить.

— Не можете... ей-Богу же, глупости. Ведь ничего не случилось. Вася, да чего вы бледный такой?

— Не случилось?

— Нельзя всему придавать значение драмы. Нельзя вечно ныть.

— Я не могу говорить.

Они шли дальше в темноте и в электрических лучах, он молчал, принимая крепче ее руку.

— Пойдемте на реку. В темноте красиво.

Зоя повернула, за нею все. Совсем темно. Небо и обрывчатый берег и река — все слилось в черно-синюю дыру. Они хотели разглядеть и не видели ничего.

— Вася, скажите что-нибудь. Мне жутко.

Он прижал ее крепче и низко странно шептал его голос:

— Может быть, мы стоим у обрыва. Ничего не видно, еще несколько шагов и мы упадем.

Он потянул ее дальше.

— Вася, не надо. Не надо же.

Он тянул ее крепче вперед — ей было жутко, нестерпимо жутко от темноты.

— Еще два, три шага. Не бойтесь, раз, два. Слышите, земля уже сыпется вниз. Сейчас.

— Я не хочу, не хочу, — почти крикнула она и вырвала руку.

— Вы же хотели полететь... с обрыва, — сдавленно прошептал он. — Вы же хотели...

III.

— Вас к телефону, Василий Григорьевич.

— Завтра? Уезжаете уже? Да, приду.

Опять она? — он представил ее себе. Нет, она не такая. Почему это три дня с поездки она ему рисуется совсем не такой? Он достал ее карточку. Сначала улыбалось упругое русское лицо с ясными глазами. Он смотрел дольше и снова появилось чужое лицо. Глаза становились мертвыми и

сладострастными, губы улыбались маняще и ужасно. И тянуло его и отталкивало.

Она завтра уезжает и четвертый день он будет целовать ее и думать о том, что она невеста другого. А если не поцелует, если просто сядет рядом, как прежде, она обидится. И с этой мыслью другая, что она так же отдавалась бы объятиям всякого, и что он не первый. Что всякий, сказавший женщине «люблю» — может целовать ее. И еще, еще мысли. О, если б бросить ее из окна, она бы вскрикнула только раз, а там внизу нашли бы грудку мяса. Или сжать ее горло тихо, властно, и медленно сводить пальцы, пока кровь не покажется у ее губ. Может быть, ударить ее по голове чем-то тупым, тяжелым и сразу без вскрика...

Он пошел поспешно туда, куда его звали.

IV.

— Пойдемте, помечтаем на диване.

Он сел рядом с ней и сидели оба молча.

— Завтра? — спросил он, не смотря.

— Все равно, завтра, — нерешительно сказала она и посмотрела выжидающе.

— Это верно — все равно.

— Как это вы спокойно сказали, Вася.

Он взглянул на нее холодно и сумрачно, что-то горячее пошло от груди и затылка, охватило все тело. Она придвинулась.

— Настя, чай пить.

— Сейчас придем, нужно же попрощаться.

— Вася, Вася... — почти угадал он на ее губах... Он придвинулся к ней и сжал ее тело... его губы сухими и острыми касаниями целовали ее лицо.

— Чай пить. Мы все варенье съедим.

Он встал быстро, пошел, но ее руки цепко держали его. Безвольно он опустился на диван и она целовала его губы живо и горячо. Она взяла его бледные нежные руки и ро-

зовые пятна пошли по ним от поцелуев. Она хотела разжать их и прикоснуться к его пальцам, но он вырвал руки, точно боясь, что с ними она завладеет им всем. Они встали, пошли рядом. Сели, прямые и тусклые. Он глотал чай, обжигая себе рот и горло. Девушка, точно решая что-то, мяла чайную салфеточку.

— У тебя совсем не невестный вид, — сказала тетя. — Вон Зоя будет иначе выглядеть, когда станет невестой.

Зоя покраснелась.

— У тебя все сложено? — спросила тетя.

— Нет...

— Смотри, завтра хлопот много будет, устанешь.

— Я не поеду в Варшаву, — спокойно сказала Настя.

— Как?

— Я не выйду замуж за Игнася.

— Ты с ума сошла?

— Тетечка, милая, — радостно заговорила Настя, — ей-Богу же, мне вот трудно было решить, а теперь все хорошо. Тетечка, я не люблю его, как нужно, — и она смотрела, сияющая и облегченная, на удивленные лица и взглянула на Васю.

Он мешал в пустом стакане ложкой. Его узкое лицо было бледно, и губы тонкие, ярко-розовые мелко дергались, точно он сдерживал смех. Зеленовато-белые руки упорно вздрагивали. Он встал вдруг. Его глаза, почти прозрачные, взглянули пусто и жалко.

— Простите, я Мне скверно.

V.

Чемоданы и корзины внесли в комнату. Тонкий мужчина в широком пальто сунул на чай внесшему и сказал суетливой кухарке:

— Вы не нужны мне пока. Я сам разберу вещи.

Опустился на чемодан. Шляпу бросил на пол и задумался. Потом вскочил, потянулся, сбросил пальто.

— Всяким снам, хорошим и кошмарным, бывает конец.

Он весело начал раскрывать чемодан и раскладывать вещи. Развешивал уже какие-то уютные картинки. Раскрыл окно — воздух хоть городской, но весенний повеял свежестью.

— Все забывается. Все должно забываться.

Кто-то постучал.

— Войдите, — и не посмотрел. — Мне сегодня ничего не нужно.

— Вася.

— Вы?

Он вскрикнул, что-то уронил, а потом стоял уже спокойно, как пред неизбежным.

— Да, я. Не сбежали. Я — проворная. Три дня ждала, а на четвертый бросилась на поиски своего суженого. А он постыдно бежал. Пойманы, голубчик, пойманы...

Она смеялась совсем весело.

— Вася, только за что? — и хотела к нему подойти.

— Настя, я виноват.

— Не надо, Вася, ей-Богу же, не надо, голубчик. Ведь между нами было только «утонченно-нежное», — она хотела улыбнуться, — но почему вы ничего не сказали? Почему бежали молча? Только это оскорбление, а все остальное... Ведь не испугались же вы женитьбы на мне?... Я знаю. Но почему, почему?... Молчание и этот пошлый побег, особенно пошлый для вас. Ведь вы — ...и злобно добавила, — эстет.

— Настя, иногда лучше не говорить, иногда лучше тайна. Красивее.

— Молчите, молчите же. Это слово... всю жизнь мне исковеркало. Не красота это, а пошлость, апатия, бессилие. Хуже, хуже, — кричала девушка. — Говорите же, говорите...

— Настя, не надо... Ну, не надо... Уйдите лучше... Я виноват...

— Надо!... Я глаз не закрываю. Я для вас пожертвовала. Я борюсь всегда и хочу знать, что такое страшное. Не уйду, не уйду, — и она в иступлении приблизилась к нему.

Он взял ее руку:

— Настя, ну я прошу, ну потом...

— Нет, скорее. Не могу я от вас уйти. Господи, да неужели у вас только фразы ваши? Говорите, говорите, — вырвала руку и, исступленная, дрожащая, слабая, ударила его по щеке.

Он отшатнулся, удивленно-жалостно взглянул ей в глаза.

— Ну что же, я... скажу. Я все ясно помню... ясно. Я был, Настя, странный мальчик, совсем странный. Да. Кухарка наша про меня говорила: «Уж такой барчук тихий, тихий, как старичок». То есть не то. Я все любил читать и думать. Я был чистый, у меня не было товарищей-просветителей. Меня, конечно, уже начали занимать любовные романы, рыцари разные... Мне было тринадцать. Я прочитал «Принцессу Грезу» и вообразил себя Рюделем, принцем Рюделем. Не смотрите на меня так... Я вспомню... я все вспомню. Я еще не волновался и снов еще не было... Я знал, что дядя любит Лизу, курсистку и все мечтал, что полюблю такую же.

Я молился много; мне нравилось молиться и я всегда просил Христа, чтоб дал мне полюбить. Еще маму я любил до болезненности. Я рос всегда один.

В лес уйду. Лес зимой мне нравился. Сугробы, снежинки и небо. Я забывал там все. Точно со снежинками подымался и летел. Пришел домой и прохожу к себе. Услышал в маминой комнате шорох и шепот. Приоткрыл дверь. Я увидел мать и офицера. Говорили мне раньше, что он любит ее, он был мой идеал-рыцарь. Я в дверях стоял и смотрел на обои — на них были желтые нарциссы. У меня все в голове застыло, потом что-то резануло, потом я все вспомнил, понял... Понял тайну любви. Кажется, я взвизгнул и побежал. Обратно в лес. Я шел и не думал. Все было раздавлено, думать не мог. Я хотел молиться Богу, лесу, снегу. А вместо молитв передо мной так ясно, так ясно появлялись мать и он, жадно обнимающие друг друга.

Я шел куда-то, иногда я падал, поднимался, падал опять. И весь вечер видел тайну любви, тайну любви. На другой день меня нашел этот офицер в нескольких верстах от го-

рода. Меня отходили. Мать и его я не подпускал — начинал бредить, биться.

Потихоньку выздоровел. Дядя рассказал все обстоятельно. Может, если б мне раньше рассказали, я был бы обыкновенный.

Меня увезли в санаторий. Мать не видал. Я не мог слышать слова — Любовь — мне рисовался весь виденный ужас, все зверство человека, грязь, грязь. Грязный кошмар любви.

Года через два я вернулся домой. Вернулся примирившийся, безразличный. Вернулся. Я мог все видеть, все слушать, стал обыкновенным. Я находил даже идилличность в любви дяди и его жены. Не мог больше молиться, леса не любил. Такой стал, как все.

Дядя с женой меня нежно лечили. Сначала осторожно, потом усиленное они предлагали мне узнать женщину. Както на даче, без Лизы, дядя и тот офицер устроили кутеж. Нас было трое, да потчевали они еще прислуживающую горничную. Они напоили меня и ушли потихоньку, оставив вдвоем. Та, пьяная, подкупленная, начала ласкать меня, обнимать. Вино, ее голая грудь меня совсем затуманили, но вдруг ясно вспомнил мать и все... даже обои с нарциссами. Я схватил тарелку и ударил девушку по лицу. Бил ее, топтал, она стонала.

Дядя с отцом оторвали меня с трудом от женщины.

Прошло три года, когда я повстречал вас. Впервые почувствовал что то похожее на любовь. Меня тянуло к вам. Ваш смех, ваши слова и вся вы — вдруг стали близкой и влекущей.

Я думал: вы — избавление и все-таки боялся. Я тогда уже сказал свои слова, когда знал, что вы — не ответите, что вы — невеста. Вы ответили. Я поцеловал вас, любя. Но потом, потом... Я почувствовал в вас самку, зверя. Меня тянуло к вам и было гадко, гадко, до проклятья. Грязь, грязь и сам стал зверем. Хотел вас столкнуть в реку, убить... И бежал. Я вас...

Настя смотрела прямо, гадливо и с жалостью на мужчину бледного, раздавленного, сидящего в жалкой сломан-

ной позе.

— Юродивый, — и ушла.

VI.

За окном ветер. Такой страшный, гудящий, осенний. Не осень. Еще лето. Но дождь бьется в стекло и ставни жалобно скрипят. И деревья стучат ветвями в окно. Вечер тоски. Все снаружи плачет о чем-то невозвратном и мечтательный шепот листьев перешел в хлипкое дрожание. Людей там нет. В доме тихо. Будто дом мертвых. Еще спать не могут, но точно вымер отель.

Мужчина сжался на кушетке и лицо его тонет в сумерках. Щемящая лень сдавила тело и не может он пошевелиться. Только встать, щелкнуть электрической кнопкой и конец жуту. Но не может встать. Гуще плывут серые сумерки и с ними тоска. О чем. О ком? Тоска просто. Ужасная своей бесцельностью, своим тупым спокойствием. Ветер сильнее снаружи и проникает в дом. Гудит в углу. Все ближе, ближе и входит в мозг и гудит там в голове тупой болью. О, если б встать, если б были силы подняться до маленькой кнопки. И еще тупее сжимается мозг и спокойнее лежат бледные руки на темноте дивана. Проблеск сознания.

Что это, что это? Старость? Безумие? Я не хочу. Новый луч. Из смуты какие-то образы. Точно целуется кто-то в углу. Вот смеется. Какой радостный смех.

— Нет, это ветер.

Опять тихая жуть. Дождь то сильнее, то слабнет. Ветер плачет мелкими взрыдами. Стук в дверь. Опять ветер? Еще. Яснее, яснее.

— Herein.

Красная немецкая девушка щелкнула электричеством.

— Bitte sehr, — и протянула письмо.

Девушка повернулась уйти. Захотелось удержать. Захотелось человека.

— Bitte schlagen sie Bett auf.

— Ja-a?

Девушка удивленно и послушно повернулась и проворно взбила перинку, оправляя постель.

— Gute Nacht.

— Gute Nacht.

Ушла. Он остался с конвертом в руке. Скучной рукой оторвал край его.

— Где вы, дорогой? Что с вами?

Найдет ли письмо вас? В Польше хорошо. Лето сейчас. Деревья желтые, розовые, красные: все вызрело и веет счастьем полным и пышным.

Я счастлива, мне хорошо смотреть в глаза Игнася, милые, верные, хорошо знать, что любима.

Мое чувство к нему зрелое и спокойное, как эта осень. Мне хорошо. Вы забыли меня?

Я вспоминаю Вас. Вспоминаю весенние сумерки и тот миг в вагоне. Если красивое чувство в одно мгновение получило законченную форму, разве оно стало от этого менее красиво?

Что может быть грустнее и красивее, чем тот весенний день и завершение, которое он получил.

Спасибо.

Я счастлива, я хочу счастья вам. Будьте же счастливы.

Ветер вскрикнул порывом. Дождь еще чаще забился. Откуда-то далеко послышался голос пьяного или граммофона.

— Du liebes Vaterland.

Электрическая лампа нелепо-удивленно смотрела своим белым глазом на странного человека, забывшегося над маленьким листом зеленоватой бумаги.

1914-Iuli.
Starnberg bei München.

ЯРМАРКА ПОЭЗИИ

Московское carte-postale

(1918)

Перед домом № 18 на Малой Молчановке мы остановились. Я посмотрел в лицо моего спутника, в офицерской бекеше без погон, поэта Шершеневича, и несмело пробормотал:

— А если он нас не примет?

В это время из подъезда вышла маленькая женщина с рыжеватыми волосами и усталым взглядом.

— Вера Инбер, — прошептал я, — она, наверное, от него... —

Маленькая женщина с рыжеватыми волосами сообщила, что Алексей Николаевич обедает, но мы все-таки решили идти. У дверей остановились на мгновение, прочитав на карточке:

«Граф Алексей Николаевич Толстой».

Он нас не заставил ждать и вышел сам, с салфеткой у шеи. Я смотрел на огромную комнату с диваном, обитым старым штофом, овальными портретами на стенах, какими-то бисерными подушками, а главное, на самого хозяина — уютно одетого барина, с белыми, пухлыми руками, с боковым пробором, разделяющим длинные волосы, с кусочком сметаны, оставшимся у мягких губ, — и мне казалось, что все эти революции, анархии, реквизиции — это только где-то вычитанный, дурно написанный «роман с происшествиями». Из солнечного окна глядела на меня особняками Малой Молчановки — старая Москва, и она же была в барских глазах, будто не живых, а написанных Сомовым.

А сам я в это время выговаривал нелепо доносившиеся до моего слуха, какие-то чужие фразы:

— Вы понимаете, Алексей Николаевич, теперь нет возможности издавать книг. Нет бумаги, дороги типографии, и мы должны перейти к другому. Мы не можем не писать, не опубликовывать написанное. Были альманахи печатные, теперь будут «живые альманахи».

— Живые?

— Ну да, очень просто... Мы будем ежедневно читать стихи, рассказы в уютном помещении. Интимно и в то же время публично.

— Где читать?

— В «Музыкальной табакерке».

— В «Музыкальной табакерке» — удивленно говорит Толстой. — Где это?

Шершеневич дипломатично кашляет и произносит:

— Это в кафе Надэ. На Кузнецком.

— Вы меня приглашаете читать в кафе? — с ужасом и недоумением говорит Толстой, — простите, но... там одни спекулянты.

— Алексей Николаевич, теперь новое время, писатели должны «американизироваться».

Барский голос говорит что-то долгое, сердитое, медленное о падении литературных нравов, а мы сознаем, что Толстой слишком хорошо воспитан, чтобы указать нам на дверь прямо, и еще то, что его ждет уже остывший обед, неловко уходим, жмем руку.

У подъезда оба «американизированных писателя» смотрят с отчаяньем друг на друга.

Через три дня Москва была заклеена огромными зелеными афишами:

Музыкальная табакерка. Живые альманахи.

Ежедневное участие: Валерия Брюсова, Бальмонта, Ауслендера, Б. Зайцева, Краснопольской, Столицы... 40 имен.

Маленькое кафе было изо дня в день переполнено. Приходили слушать одни, приходили глядеть другие. Вторых было больше. Они разглядывали жадными глазами тех, имена которых привыкли видеть только на обложках книг. Рассматривали их галстуки, воротнички, прически. Сидеть рядом с Бальмонтом, пить кофе и перекидываться фразами со Столицей — разве это не занимательно?

А на маленькой эстраде, при свете двух свечей с синими абажурами выступали поэты, 80% которых оказались картавыми, остальные 20% — косноязычными. Нараспев воющими голосами поэты произносили свои стихи.

Лениво хлопающие зрители насторожились. Сегодня они ждали особенного. Сегодня был «номер — экстра», а у двух

устроителей похолодели пальцы:

— Если «он» не придет — мы погибли, погибла идея американизации, «живых альманахов», — прошептал Шершеневич.

И в этот момент вошел «он». Бледный человек, в глухом черном сюртуке, с выпуклыми скулами и почти седыми, твердыми волосами. Глубоко сидящие глаза сверкали странным, фосфорическим светом. Под взглядом таких глаз невольно опускаешь ресницы.

Он шел к эстраде. «Брюсов, Брюсов!» — шептали кругом и аплодисменты, дружные, единогодушные, заполнили кафе.

Он не читал старых стихов. Он импровизировал. Темы бросали в урну — публика. Он вытянул тему о последней осенней любви и вышел ближе, к концу эстрады, заложив руки за спину. И фразы его, странные, волнующие, но облеченные в отточенную форму октав выбрасывались, как горящие угли, в толпу. Точно он разорвал свою грудь и вынул свое сердце. Тайна творчества открылась глазам, и седой человек с фосфорическими глазами говорил о последней любви, как жрец читает молитву. Забыли, что в кафе, ложечки не стучали в стаканах, и только отточенные слова, выгравированные сердцем поэта, звенели в душной маленькой зале. Иногда он прикрывал рукой глаза, останавливался и эти мгновенные паузы жгли всех, как сжигали сознание поэта. Маленькое кафе на минуту стало храмом.

Через неделю после открытия «Табакерки» на той же улице открылось другое «кафе с поэтами» «Элит», где, в числе прочих, стояло имя А. Н. Толстого. По-видимому, «американизация» коснулась и его.

Через месяц в Москве насчитывалось шесть «кафе с поэтами»: «Табакерка», «Кафе поэтов», «Венок искусств», «Десятая муза», «Домино», «Элит», и всюду было полно, всюду люди, похожие на фармацевтов, приходили выпить стакан кофе, закусывая, вместо отсутствующих пирожных, стихами «живых поэтов». И у каждого кафе, кроме своей публички, было свое лицо.

«Домино», где каждое стихотворение встречалось сытым замоскворецким смехом, «Элит», с седовласыми авторами, читающими монотонными голосами свои рассказы в 3 печатных листа, «Табакерка», «Кафе поэтов». «Кафе поэтов», целый сезон притягивавшее, несмотря на выстрелы и расстрелы, ночную Москву.

Красный сводчатый кабачок, вымазанный пестрыми зигзагами футуристов. Кабачок, где полуобнаженные женщины и девушки, с лицами, размалеванными, как вывески гостиниц, мешались с буржуазными любопытствующими дамами, пьяными солдатами и напудренными dandy. Гольдшмидт, ломающий о свою голову доску, одетый в красный муар, а иногда совсем обнаженный, выкрашенный в коричневую краску «под негра», проповедует здесь «Радости тела». Бурлюк, не отрывая лорнет от глаз, кричит:

«Мне нравится беременный мужчина».

Василий Каменский, с торчащими льняными волосами, выкликающий зычным голосом:

«Сарынь на кичку, Казань, Саратов,
Сарынь на кичку, ядреный лапоть».

Здесь же какие-то разодетые женщины, нюхающие кокаин, матрос с челкой до глаз, умирающим голосом произносящий:

— Жизнь — это опиум.

И немедленно глотающий черные шарики опиума.

В другом углу наглый, зычный бас Маяковского возглашает:

«Хотите, буду безукоризненно нежным,
Не мужчина, а облако в штанах».

А после этого фиглярства, заигрывая с публикой, жующей котлету, на эстраде появляется Маяковский в костюме

апаша, в красном шарфе с подведенными глазами и вдохновенно читает свою вдохновенную поэму о Революции.

Пьяный солдат прерывает:

«Долой Маяковского. Ойру, давайте ойру».

Им хочется плясового мотива, а не жгучих стихов приближающегося к гениальности поэта.

Но он читает, и будет читать сегодня и завтра. И люди идут в кафе, а более смелые на улицу и там на площадях читают свои стихи.

И в то время, как спекулянты глотают котлету, и в то время, как пьяный солдат орет «Ойру» — поэт уже не на страницах книги, а на углу Страстной площади кричит:

— Сердце! Экстренный выпуск. Свежее сердце! Новая страница русской поэзии.

Ярмарка. Базар. Кафе. Но все-таки, та же истинная, горящая, пылающая поэзия.

Украина.
Июнь 1918 г.

АВТОБИОГРАФИЯ

<1927>

Владимир Владимирович родился 20/VI 895 года в Сибири, в семье поляка повстанца (мать русская). Первое впечатление детства: губление казаками нас маленьких гимназистов в 1905 году на Томской площади.

Еще посещение Иезуитского костела и пламенные проповеди ксендза Чаевского. Нить жизни шла между кровопролитием и горячим мистицизмом, в этом сумбуре единственным истинно реальным казался театр.

К театру все стремления детства, юности, всегда.

Первые попытки 16 летнего гимназиста писать сентиментальные рассказы весьма приветствовались и охотно печатались сибирской прессой. Но с переездом в Москву, были забыты.

Настоящую литературную карьеру начал случайно и сравнительно поздно. В 16 году, накануне окончания Моск. Коммерч. Института, под влиянием поэта Иг. Северянина и товарища по Сибирской общественной работе Ив. Ар. Бутина (позже председатель Читинского Ревкома, разстрелянный Семеновым), я дебютировал одновременно книгой прозы, рассказами в Ежемесячном журнале (Миролюбова) и литературно-концертным турнэ по России с Северяниным. В 17 году по настоянию режиссера А. П. Петровского написал первую свою пьесу «М-ле Жужам». Это решило мою участь. Только театр.

Исканием истинной театральности посвятил себя и путь постоянных исканий, постоянных ошибок стал моим путем. С 19 года по 21-й я бросил совершенно писать, уйдя целиком в режиссерскую работу, красноармейских театров южного фронта. В 21 году был приглашен в Москву артистом и режиссером Мастерской коммунистической драмы.

Не найдя там желаемого, ушел работать в театр миниатюр и в 23-м году, не увидев пути и здесь, покончил с ними. Снова 2 года вдали от любимой работы, не умея найти вех нового театра, разочарованный в работе своей и работе других. Только в некоторых схемах Мейерхольда мелькнуло то, что может назваться новой драматургией.

В начале 1926 года я возвращаюсь вновь в театр своей пьесой, посвященной соврем. Польше «Тайная Вечеря»

Пусть это будет новая ошибка, но только тот, кто неудержимо идет, падает и ошибается, только тот может найти.

ВЛАДИМИР (ВЛАД) КОРОЛЕВИЧ



Владимир Владимирович Королевич (настоящая фамилия – Королев) родился 16 июня 1894 года в Омске, в дворянской семье чиновника канцелярии Степного генерал-губернаторства; в автобиографиях он указывал вымышленные сведения о происхождении из семьи «поляка-постанца», а годом рождения называл 1895. Учился в Омском подготовительном казачьем пансионе (1902-1904) и, недолгое время – в Омском кадетском корпусе, а после переезда семьи в Томск – в 1-м Сибирском коммерческом училище (1904-1912). Затем поступил в Московский коммерческий институт, где проучился с перерывами до мая 1918 г.

Первые литературные опыты Королевича – по описанию автора, «сентиментальные рассказы» в сибирской периодике – относятся к началу 1910-х гг. Неизвестно, когда он начал писать стихи, однако уже в 1915 г. Королевич прочно входит в московские литературные круги и 24 марта 1915 г. читает на поэзовечере И. Северянина в Никитском театре реферат «Поэт мечты». Он начинает часто появляться на эстраде Политехнического музея. Так, Н. Серпинская, описывая состоявшийся в музее 22 января 1916 г. «Вечер женского творчества», вспоминает, что на эстраду «вновь входящих поэтесс» впускал «блондин с распущенным ртом и сонными глазами, в пиджаке с белой манишкой – так называе-

мый Влад Королевич»¹. К слову, память мемуаристки, которой Королевич посвятил стихотворение «Девушка в модном», сохранила и шутовское прозвище поэта – «Бова-Королевич»².

25 февраля и 1 марта Королевич участвует в поэзовечерах Северянина в Политехническом музее, предваряя выступление поэта своим рефератом «Принц из страны Миррэлии». Затем он сразу же отправляется с Северяниным в турне – они совместно выступают в Саратове (3 марта), Казани (9 марта), Орле (14 марта), Курске (15 марта), Харькове (17 и 18 марта) и Полтаве (19 марта). На вечерах Королевич читает и собственные «поэзы». Сохранились довольно многочисленные газетные отчеты об этих выступлениях, к примеру:

«Вышел юноша Вл. Королевич и по тетрадке взялся доказывать, что большая ошибка считать Иг. Северянина футуристом: “желтая кофта футуризма на Иг. Северянине – с чужого плеча”, а его увлечение футуризмом – “дела давно минувших месяцев”. У него есть лишь стремление к обновлению слова, – но этим грехом грешны даже Жуковский, Герцен и другие. “Северянин научил нас ценить красоты слова”... “музыкой красок зачаровал наш слух”... “раскрыл музыку слова” и т. д. в том же духе. “Интуит с душою бирюзовой”, он обладает грустными глазами, “любовно,

¹ Серпинская Н. Флирт с жизнью: Мемуары интеллигентки двух эпох. М., 2003. С. 134.

² Там же, с. 171.

благоговейно нежно касается женщины”. “Он умеет любить, он пресыщен любовью”, заливается г. Королевич»¹.

«Выступление Вл. Королевича тем интересно, что он придал творчеству Игоря Северянина новое освещение. По мнению Вл. Королевича, Северянин не футурист и “желтая кофта” на нем с чужого плеча. Футуристы – поэты города, городом они живут, городом раздавлены их души и о городе их “бетонные” стихи. Северянин города не любит. Северянин нежен, женственен и в его стихах слишком много любви и цветов. Северянин – лирик; принц из несуществующей страны Миррэлии, живущий мечтой о единой недостижимой Ингрид. Лирика Северянина рельефно высказывается в его новейших стихах, еще не напечатанных, некоторые из них были прочтены на поэзовечере.

Коснувшись отношения Северянина к женщине, референт сказал, что мы теперь не видим тургеневских девушек, не знаем Виардо, потому что нет Тургенева, который их описывал такими, а есть Арцыбашев <...> Отношение Северянина к женщине, – сказал далее В. Королевич, – благоговейное, осторожное и нежное, и даже в потерянной женщине, в кокетке он видит принцессу Ингрид.

После реферата Вл. Королевич прочел несколько своих стихотворений, из которых следует отметить “Электричество”, кончающееся яркими и образными строками»².

Но не все газеты были так благосклонны к Королевичу: критики в Орле и Полтаве сочли его реферат «бледным», «пристрастным» и «довольно поверхностным», а чтение и декламирование стихов «далеко не искусным»³. Сотрудничество Королевича и Северянина завершилось двумя петроградскими поэзовечерами в Тенишевском училище (19 и 26 ноября 1916), на которых Королевич читал реферат о Северянине «Страна несуществующая», судя по тезисам – вариацию «Принца» – и вечерами Северянина и его последователей в московском Политехническом музее (14 и 19 декабря 1916). На декабрьских вечерах в Политехническом вместе с Королевичем и Северяниным выступали Балькис-

¹ Д<убровск>ий П. На «поэзо-вечере» // Саратовский листок. 1916. № 52. 5 марта. С. 3.

² Краснов П. «Принц из Миррэлии»² (Игорь Северянин) // Полтавский день. 1916. № 887. 22 марта. С. 3.

³ Подробнее см.: Крусанов А. Русский авангард 1907-1932: Исторический обзор. Т. 2, кн. 2. М., 2003. С. 21-26.

Савская (М. Домбровская), Г. Шенгели и будущий актер и режиссер А. Оленин¹.

Оленин, как и Королевич, входил в литературно-художественное объединение «Салон искусств “Единорог”». Именно под маркой «Единорога» в 1916 г. вышел первый поэтический сборник Королевича «Смуглое сердце». Книга обнаруживала как очевидное влияние Северянина и эгофутуризма в целом, так и не менее явный гомоэротический уклон – характерный и для скандальной повести «Молитва телу» (М., 1916). Повесть, вышедшая в изрезанном цензурой виде, спустя неделю была тем не менее арестована.

На титульном листе «Молитвы телу» значилось – «Первая книга». Вскоре вышла и «Вторая книга» прозы, сборник рассказов «Студенты столицы». Сибирские юноши и девушки, приехавшие учиться в Москву и ставшие в чуждой им атмосфере большого города невротиками, содержанками и искательницами чувственных удовольствий, эфироманами и альфонсами – таковы герои и героини этой книги.

В 1916-1917 гг. Королевич также выступает как театральный критик в журнале «Рампа и жизнь». В ноябре 1917 г. на сцене Никольского театра (ресторана «Славянский базар» на Никольской ул.) А. П. Петровский ставит пьесу Королевича «М-ль Жюжан», где сам автор играет роль Поэта. Подвизается Королевич как актер и в поставленных здесь же в сезон 1917-1918 г. собственных «пьесах-миниатюрах» «Современная женщина», «Та, которая...», «Центрострах или Домовой комитет», «Танго трех», «Рыжая клоунесса».

В начале 1918 г. Королевич и поэт Л. Моноззон организовали антифутуристический литературный кружок «Зеленое яблоко», собиравшийся иногда на квартире В. Шершеневича; в работе его принимали участие С. Рубанович, Н. Поплавская, Н. Серпинская, С. Рескин, М. Щетинина, Ю. Наумов и др.

Весной 1918 г. Королевич совместно с В. Шершеневичем организует в кафе «Музыкальная табакерка» на углу Петровки и Кузнецкого моста «живые альманахи» – одно из первых начинаний так называемого «кафейного периода» русской литературы. Первый «Живой альманах» состоялся 18 (5) марта 1918 года. Выступает Королевич и в «Кафе поэтов». В этот период Королевич, по свидетельству Н. Захарова-Мэнского – «очень модный автор целого

¹ Крусанов А. Там же, с. 30-31.

ряда популярнейших миниатюр и книжки “Сады Дофина”»¹. Однако «контрреволюционное» содержание второй и последней книги стихов Королевича, все эти благородные аристократы, гибнущие на эшафотах революционной смуты с «проклятием черни» на устах, не могло пройти незамеченным. Заметили и демонстративное посвящение вел. кн. Дмитрию Павловичу – по замечанию современной исследовательницы, «очевидному предмету влюбленности юного автора – сторонника альтернативной любви, вдохновенно, не ведая о Фрейде, живописующего трости, лорнеты, стэки и прочие милые сувениры ушедшего навеки любовного быта»².

«Лозунг “эстрада – всем” давал простор для всевозможных вылазок» – вспоминал С. Спасский. – Вот читает поэт, автор сборника, называвшегося “Сады дофина”. Сборник посвящен какому-то великому князю. Правда, наборщики отказались набрать титул. В посвящении значатся только имя и отчество, но они расшифровываются легко. В одном из стихотворений некий маркиз возгласит с эшафота “проклятье черни”. Поэт картаво декламирует, перебирая янтарные четки»³.

«Напудренного поэта с четками» приметил в дневниках 1918 г. и А. Толстой⁴. «Поэт с фамилией, недопустимой в социалистическом отечестве <...> прочел стихи о трамвайной остановке, где появлялся черный вуаль, но... внезапно исчез, и ничего другого не оставалось, как утешиться с белым вуалем...» – острела газета «Наше время»⁵.

Книга «Сады дофина» вызвала отрицательную рецензию В. Шершеневича: «Опять грумы, менуэты, маркизы <...> и прочие аксессуары “изящной” поэзии. Стих очень неловок <...> сравнения <...> бесцветны и скудны». Но затеяно все было, похоже, ради заключения: «В дни догорающей революции <...> в дни грабежей и

¹ Захаров-Мэнский Н. Как поэты вышли на улицу. РГБ. Ф. 653. Карт. 48. Ед. хр. 5. Оpubл. А. Соболевым.

² Толстая Е. «Деготь или мед»: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель. М., 2006. С. 112.

³ Спасский С. Маяковский и его спутники: Воспоминания. Л., 1940. С. 110.

⁴ Толстая Е. Там же, с. 113.

⁵ Наше время. 1918. № 90. 10 мая (27 апр.). С. 3. Речь идет о стихотворении Королевича «Трамвайные остановки».

насилий уход в напудренные безделушки есть своего рода бессознательный протест против “жадной банды”, наглой черни»¹. Шершеневич в ту пору был и сам был не чужд фрондированию: «Наряду с революционными стихами, наряду с классикой здесь <в «Музыкальной табакерке»> иногда звучала и контрреволюция в стихах. Каюсь, что не без успеха и не один раз я с Владом Королевиным читали здесь явно шовинистическую “Переключку Элегического и Электрического Пьеро”»².

«Монархические» симпатии Королевича злобно отмечает и завсегдатей «Кафе поэтов» А. Климов: «А то был еще и такой поэт, как Влад Королевич, один из вечных студентов, искусно жонглировавший идеями монархических реставраций всех времен, вперед еще, до открытия кафе поэтов, договорившийся с нашим хозяином-ионом о специальном сооружении здесь для него отдельного “трона” с подножием, откуда он мог бы произносить для народа свои смехотворные выдумки: затея, взбесившая, было, Маяковского. Этому некоронованному автору “Садов Дофина” скоро пришлось проститься со своими лукавыми расчетами, покончив насовсем, к тому времени, с карьерой поэта, пустившего свои издания на более полезные цели бытового характера»³.

Вскоре «Музыкальная табакерка» была закрыта – возможно, в связи с состоявшимся здесь и напумевшим вечером эротической поэзии, в котором участвовал и Королевич. Очевидно, поэт почувствовал, что над его головой стущаются тучи. Летом 1918 г. он оказался в Харькове, где продолжал выступать в кафе и отвечал за литературную часть кабаре «Красный кабачок» на Сумской.

С возвращением на Украину «красных» Королевич быстро пере-квалифицировался на работу в красноармейских театрах юго-западного фронта⁴. С 1921 г. был артистом и режиссером москов-

¹ Мысль. 1918. 6 (19) марта; цит. по: Кеда А. А. Королевич Влади-мир (Влад) // Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 78.

² Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910-1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 547.

³ Климов А. М. Воспоминания // РГАЛИ. Ф. 336. Оп. 6. Ед. хр. 13. Л. 10-11.

⁴ См. Королевич В., Петкер Б. В агитпоезде им. Сталина: (Воспоминания) // Современный театр. 1928. № 8.

ской Мастерской коммунистической драмы, затем (до 1923 г., согласно автобиографии) работал в театре миниатюр.

В то же время, Королевич пытается вернуться в литературу как поэт. Совместно с А. Золотницким, С. Полоцким и Г. Шмерельсоном он подписывает в ноябре 1922 г. так называемый «Манифест новаторов» – декларацию петроградского «воинствующего» ордена имажинистов (его деятельность в ордене этим практически и ограничилась). Любопытна и, так сказать, «подпольная» сторона литературной деятельности Королевича: он контактирует с М. Кузминым и принимает участие в работе «интимного» кружка «Антиной». Об этом кружке Кузмину сообщает в письме от 1 марта 1924 г. В. Русов: «Как Вам уже известно от В. В. Королевича, у нас здесь в Москве образовался небольшой очень интимный кружок, главным образом из молодых поэтов, под знаком “Антиной”; его цель – в выявлении в печати, в театре и в иных видах искусства мужской красоты. У нас за прошлый 1923 год было два исполнительных вечера, музыка “наших” композиторов, чтение “наших” стихов, пение “наших” романсов, а также “наш” мужской балет; на втором вечере была дана инсценировка Вашего “Антиноя” из “Александрийских песен” с музыкой молодого московского композитора Вл. Евг. Артемова. Одной из очередных задач сего кружка является издание сборника со стихотворениями, посвященными воспеванию мужской красоты и любви, всех поэтов, начиная с античных и кончая современными»¹.

Задуманный сборник так и не был издан, а Королевич с середины 1920-х гг. переключился на кинокритику – публиковался в периодике и в 1926-1927 гг. напечатал целую серию книжек о популярных актерах и актрисах немого кино: «Рудольф Валентино», «Ната Вачнадзе», «Барбара Ля-Мар», «В. Малиновская», «Леатриса Джой», «Мэй Муррей», «Пола Негри», «Рамон Новарро», «Пат и Паташон», «Пауль Рихтер» и др., а также книгу критических статей «Женщина в кино» (1928). Обратился он и к практической работе в кино, выступив автором сценария кинофильма «Сердца и доллары» (1928) и режиссером документальных кинолент «Страна Чувашская» (1927), «Битвы жизни» (1930), «Мо-

¹ Тимофеев А. Г. Прогулка без Гуля? (К истории организации авторского вечера М. А. Кузмина в мае 1924 г.) // Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15-17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 181-192.

ряки защищают родину» (1931) и «Горячая кровь» (1932). Позднее Королевич работал как театральный режиссер в Барнауле, был художественным руководителем Тульского областного драматического театра, в 1944-47 гг. возглавлял Тульское театральное училище. Вместе с труппой выпускников училища был направлен в Белгород. Новосозданный Белгородский драматический театр постоянно гастролировал по городам Украины, в Туле и Курске.



В. Королевич (в центре) в Сортавале (1950)

В августе 1950 г. решением Управления по делам искусств при Совете министров КФССР в Сортавале (Карелия) был организован «второй русский драматический театр передвижного типа», которым и стала труппа Королевича. «Начиная свою работу в Сортавале, мы уже готовимся к большой поездке по республике, — радостно писал Королевич. — Все наши помыслы направлены к тому, чтобы наши спектакли помогали труженикам КФССР в их труде на благо Родины. Мы надеемся, что глубокое понимание и строгая взыскательность зрителя помогут нам создать такие спек-

такли»¹.

В Карелии Королевич пробыл до 1952 г.: поставил спектакли «Коварство и любовь», «Замужняя невеста», «Васса Железнова» и др., публиковал статьи о театре в городской и республиканской пьесе и даже баллотировался в депутаты горсовета – но «затем что-то не складывается в его взаимоотношениях с труппой <...> и он покидает Сортавалу»². Позднее Королевич жил и работал в Калуге, где и скончался 14 февраля 1969 года.

Н. Андерсон

¹ Микконен (Грацианова) Л. И., Рыстов В. О. Театр на колесах: Из истории передвижного драматического театра г. Сортавала (1950-1962) // Краеведческие чтения: Материалы X научной конференции (11-12 февраля 2016 г.). Петрозаводск, 2016. С. 223.

² Там же, с. 225.

КОММЕНТАРИИ

Смуглое сердце

Публикуется по изд.: Королевич В. Смуглое сердце. М.: К-во «Единорог», 1916. Обл. раб. Евг. Зейденер-Саад. В публикации сохранена авторская пунктуация.

С. 9. *Ал. Оленину* – А. Б. Оленин (1897-1962) – артист, режиссер театра и кино, поэт, близкий к эгофутуристам, затем имажинистам. В 1916 г. – актер Камерного театра.

С. 9. *...кофе у Сиу* – Т. е. в одной из кофеен известного кондитерского торгового дома «С. Сиу и К°» (имелись на Кузнецком мосту в пассаже Дзамгаровых и при магазине на Арбате).

С. 10. *Нежданова пела Джульетту* – А. В. Нежданова (1873-1950) – оперная певица, педагог, более 30 лет была солисткой Большого театра. В 1928 г. В. Королевич опубликовал книжечку «Нежданова». Джульетта – партия Джульетты в опере Ш. Гуно (1818-1893) «Ромео и Джульетта» (1867).

С. 10. *...бриллианты от Тет'а* – имитация бриллиантов, поддельные бриллианты (стразы). Были широко распространены в дореволюционной России и получили такое название от магазинов «Американского дома бриллиантов Тэт» в Петербурге. Часто упоминаются в текстах Королевича.

С. 14. *...Мезень* – река на севере России в современной Архангельской обл.

С. 15. *Натал. Поплавской* – Н. Ю. Поплавская (годы жизни неизвестны, умерла в эмиграции) – старшая сестра известного поэта и прозаика Б. Поплавского, богемная поэтесса, артистка, наркоманка, автор кн. «Стихи зеленой дамы: 1914-1916» (М., 1917).

С. 16. *...руки Дузе* – Э. Дузе (1858-1924) – знаменитая итальянская театральная актриса.

С. 17. *Нине Серпинской* – Н. Я. Серпинская (1893-1955) – поэтесса, беллетристка, художница, «звездочка» богемы 1910-х гг. Автор кн. стихов «Вверх и вниз» (Пг., 1923) и мемуаров «Флирт с жизнью: Мемуары интеллигентки двух эпох» (М., 2003).

С. 17. ...*Сольвейг* – героиня пьесы Г. Ибсена (1828-1906) «Пер Гюнт» (1867), здесь как символ верной своему избраннику женщины.

С. 18. *Анне Мар* – Анна Мар (А. Я. Бровар, 1887-1917) – писательница, сценаристка, автор нашумевшего романа «Женщина на кресте» (1916), насыщенного лесбийскими и садомазохистскими темами; покончила с собой в 1917 г. Эротически окрашенное католичество Мар было созвучно определенным настроениям Королевича, чье стих. воспроизводит обстановку ее романа «Тебе Единному согрешила» (1914, отд. изд. 1915), где описана любовь к католическому священнику.

С. 18. ...*конфесснала* – исповедальни, от *фр. confessional*.

С. 20. *В. В. М.* – Очевидно, В. В. Максимов, которому посвящен ряд глав повести Королевича «Молитва телу». Имеется в виду, вероятно, известный актер театра и кино, кинорежиссер В. В. Максимов (Самусь, 1880-1937), в период написания стих. – актер Малого театра.

Сады дофина

Публикуется по изд.: Королевич В. Сады дофина. М.: Тип. «Синема», 1918. В публикации сохранена авторская пунктуация.

С. 27. *Дмитрию Павловичу* – вел. кн. Дмитрий Павлович (1891-1942), внук Александра II и двоюродный брат Николая II, участник убийства Г. Распутина; после революции 1917 г. жил в США и Европе (Франция, Швейцария).

С. 34. *Tes jardins composés où / Louis ne vient plus...* Albert Samain – букв. «Твои стройные сады, где больше не гуляет Людовик», в пер. Р. Дубровкина «Аллеи, где уже не встретишь короля». Цит. из стих. французского поэта-символиста А. Самена (1858-1900)

«Версаль». Заглавие сборника Королевича «Сады дофина» отсылает к загл. поэтической кн. Самена «В саду инфанты» (*Au jardin de l'infante*, 1893, 1897).

С. 41. ...*профиль Дориана* – Ср. ниже стих. «Промелькнувший профиль» и повесть «Молитва тела», где герой сравнивается с Дорианом Греем из «Портрета Дориана Грея» О. Уайльда (1890).

С. 49. ...*витрины Дациаро* – Имеется в виду известный магазин эстампов, рам, письменных принадлежностей и т.д. на Кузнецком мосту в Москве.

С. 53. ...*Лаура* – муза великого итальянского поэта Ф. Петрарки (1304-1374).

С. 53. ...*Верлен в тоске воспел Артура* – Речь идет о романе между выдающимися франц. поэтами П. Верленом (1844-1896) и А. Рембо (1854-1891).

Стихотворения из «Альманаха муз»

Публикуется по изд.: Альманах муз. Кн. 1-я: Песни Любви. М.: Изд. Н. В. Васильева, 1918. Сохранена авторская пунктуация. Книжные украшения взяты из оригинального издания.

Молитва телу

Публикуется по изд.: Королевич В. Молитва телу. Обл. раб. А. Микули. М.: К-во «Единорог», 1916. Перед загл.: Первая книга. Текст приближен к современным нормам орфографии и пунктуации; очевидные опечатки безоговорочно исправлены.

С. 64. *В. В. Максимуму* – см. прим. к с. 20.

С. 66. ...с *картинки Каульбаха* – Под этой фамилией в нач. XX в. были известны немецкие художники Теодор Фридрих Каульбах (1822-1903), его сын Фридрих Август (1850-1920) и внучатый племянник Герман фон Каульбах (1846-1909).

С. 71. ...*как цветок нарцисса* – Следующая ниже сцена воспроизводит древнегреческий миф о влюбленном в собственное отражение Нарциссе. Далее Вадим, подобно Нарциссу, отвергает ухаживания влюбленных в него мужчин и женщин.

С. 71. ...*статуя Кановы* – А. Канова (1757-1822) – выдающийся итальянский скульптор-неоклассицист.

С. 77. ...*Загряжевский, он был известный критик* – Эту фамилию автору, вероятно, подсказал известный в 1910-х гг. литературный критик, литератор А. К. Закряжевский (1886-1916).

С. 77. ...*saumon* – «лососевый», розовато-оранжевый цвет (*фр.*).

С. 77. ...«*Убиган*» – духи прославленной парижской фирмы **Houbigant**, основанной в 1775 г., поставщиков многих европейских королевских домов.

С. 79-81. ...*повесть ...Адриан ...Антиной* – Здесь излагается окутанная легендами история о римском императоре Адриане (76-138) и его фаворите и постоянном спутнике, прекрасном юноше Антиное, погибшем в водах Нила. После смерти Антиной был обожествлен Адрианом, стал объектом культа, изображался в виде различных богов и героев. В культуре русского модернизма 1900-1910-х гг. Антиной – символ гомозротической любви и мужской красоты, персонаж стихов М. Кузмина, который в «интимных» кружках также именовался Антиноем.

С. 84. *Уже к «Достойно» звонят* – Звон к «Достойно» (12 ударов в колокол по числу апостолов) – часть православной воскресной литургии; в это время священник произносит евхаристические молитвы, а хор отвечает: «Достойно и праведно есть».

С. 85. ...*мазагран* – холодный черный кофе со льдом, иногда с ликером или коньяком.

С. 100. ...*хиавату* – Хиавата (гиавата) – модный в России нач. XX в. парный танец.

С. 100. ...«*Дорогом поцелуе*» – имеется в виду шуточная одно-актная пьеса Р. З. Чинарова (1869-1943).

С. 100. ...«*Сумасшедшего*» *Апухтина* – любимое декламаторами-любителями стих. (1890) А. Н. Апухтина (1840-1893).

С. 101. «*Девы, повязки неся на глазах...*» – Здесь и далее искаж. цит. из лирического цикла М. Метерлинка (1862-1949) «Пятнадцать песен» в пер. О. Чюминой.

С. 106. ...«*Невозвратное время*» – Известно недатированное нотное издание этого произведения (нач. XX в.), где оно отмечено как «армянский вальс» соч. А. Розенберга.

С. 107. ...«*Ожиданье*» – вальс, написанный дирижером 6-го гренадерского Таврического полка Г. Л. Китлером.

С. 110. «*Каждый кусочек тела...*» – Цит. из стих. М. Кузмина «Виденье мной овладело...» (1916).

С. 115. *Вы забыли Нижинского...* – Знаменитый танцовщик и хореограф В. Ф. Нижинский (1889-1950) был любовником и протеже антрепренера С. П. Дягилева (1872-1929).

С. 125. ...*Клео де Мерод* – Французская балерина (1875-1966), объект преклонения бельгийского короля Леопольда II и многих других, модель многочисленных скульпторов, художников и фотографов, одна из эталонных красавиц 1900-х гг.

С. 128. ...*Раутенделейн* – фея из драматической сказки в стихах немецкого писателя и драматурга Г. Гауптмана (1862-1946) «Потонувший колокол» (1896).

С. 135. ...*Людвига Баварского* – Людвиг II (1845-1886), король Баварии с 1864 г., покровитель Р. Вагнера, эксцентричный мечтатель, прозванный «сумасшедшим» и «сказочным» королем.

Студенты столицы

Публикуется по изд.: Королевич В. Студенты столицы. М.: К-во «Наука и труд», 1916. Обл. раб. И. Рахманова. Перед загл.: Вторая книга. Текст приближен к современным нормам орфогра-

фии и пунктуации; очевидные опечатки безоговорочно исправлены.

С. 139. *Куда, куда мне склониться...* – Неточная цит. из стих. Р. Ивнева (М. А. Ковалева, 1891-1981) «Жгучий стыд до боли, до униженья...» (1913).

С. 142. ...*Понсон де Терайля* – П. Понсон дю Террайль (1829-1871) – популярный французский романист, автор готических, исторических и уголовных романов-фельетонов, создатель образа разбойника Рокамболя.

С. 143-144. ...*Прево... «Demi-Vierges»* – Э. М. Прево (1862-1941), французский драматург, бытописатель-романист автор пикантных романов. Его роман «*Les Demi-vierges*» (1894) о сексуальной жизни молодых парижанок вызвал большую сенсацию и в 1895 г. был переведен на русский язык.

С. 146. *Пускай могила меня накажет...* – Народный городской романс, известен в переложении дирижера, пианиста и композитора Я. Ф. Пригожего (1840-1920).

С. 147. *Для нас Державиным стал Пушкин...* – Цит. из стих. И. Северянина «Пролог» (1911).

С. 149. *И к рюмочке приложимся, потом и к огурцу...* – Цит. из известной в ряде вариантов шуточной «похоронной» песни «С вином родились». Изъятая строка гласит: «Помолимся, помолимся, Помолимся Творцу».

С. 153. «*Ампир*»... «*Эрмитаж*» – соответственно, ресторан и развлекательный сад с театром в Москве.

С. 153. ...*Ралле* – Речь идет об известной московской парфюмерной фирме «А. Ралле и К°», основанной в начале 1840-х гг.

С. 155. ...*девотки* – Девотка – богомолица, святоша.

С. 156. ...*кафе «Бом»* – модное кафе на Тверской (1916-1919), открытое клоуном М. Станевским из дуэта «Бим-Бом». Помимо литераторов, артистов и художников, в нем бывали и просто гуляки, а также, по свидетельству А. Вертинского, «хорошо известные Мос-

кве звезды кафешантанов, и много еще молодых и красивых женщин». Позднее в этом же помещении было открыто кафе имажинистов «Стойло Пегаса».

С. 157. *У Максима... дам в косметике и тетовских ожерельях* – «Максим» – московский театр-варьете на Б. Дмитровке. Слово-сочетание «дама от Максима» стало в предреволюционной Москве нарицательным как обозначение кокетки.

С. 159. ...«Альказар» – «Альказар» (1910-1917) – театр-варьете в Москве на Садово-Триумфальной пл.

С. 161. ...*Houbigant... Pinaud* – Соответственно, духи парижских парфюмерных фирм «Убиган» (см. прим. к с. 77) и «Ed. Pinaud». В оригинале ошибочно: «Pino».

С. 161. *Седые виски портрета странно противоречили темным глазам, томно прикрытым выпуклыми веками* – Черты изображенного на портрете человека напоминают М. Кузмина.

С. 161. *Между Гюисмансом и Аннунцио лежал молитвенник* – Характерное для Королевича сочетание декаданса в лице Ж.-К. Гюисманса (1848-1907), обратившегося позднее в католичество автора «упадочных» романов «Наоборот» (1884) и «Бездна» (1891), итальянского писателя, поэта и драматурга Г. д'Аннунцио (1863-1938) – и католических «экстазов».

С. 167. ...*Надсона «Друг мой, брат мой...»* – Цит. из стих. С. Я. Надсона (1862-1887) «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» (1880).

С. 170. *Крашенные губы и алмазный перстень...* – Алмазный перстень в текстах Королевича – признак альфонса (ср. в рассказе «День студента Димочки», с. 198, и финальную фразу «Молитвы телу»). В сочетании с «крашеными губами» – возможный намек на мужеложство героя.

С. 170. ...в «Стрельне» – «Стрельна» – известный московский ресторан с зимним садом на Петербургском шоссе; как и «Яр» (см. прим. к с. 201), славился цыганским пением.

С. 173. ...*Кавальери* – Лина Кавальери (1874-1944), итальянская певица, выступавшая в кабаре и кафешантанах, позднее в ведущих оперных театрах Европы и США, куртизанка, популярнейшая фотомодель. Наряду с Клео де Мерод (см. выше) считалась в 1900-1910-х гг. эталоном женской красоты.

С. 176. *Юной верой пламеня...* – «Сибирская студенческая песенка» на стихи поэта и прозаика Г. А. Вяткина (1885-1938).

С. 182. *И все невозможно, и все невозвратно...* – Чуть искаж. цит. из стихотворения И. Северянина «Стансы» (1909).

С. 183. «*Без косметики пресны лица*» – автоцитата из стих. «Электричество» (1916).

С. 197. ...*Аста Нильсен* – А. Нильсен (1881-1972) – знаменитая датская актриса немого кино, снималась в основном в Германии.

С. 200. *Откуда это коньяк... в такое время?* – В годы Первой мировой войны в России (с рядом ограничений) действовал «сухой закон», обходившийся многочисленными способами.

С. 201. ...*к Яру посылали* – «Яр» – загородный ресторан на Петербургском шоссе в Москве, прославленный цыганским пением и безудержными кутежами.

С. 203. *Анатолию Микули* – А. Ф. Микули (1882-1938) – художник, поэт, музыкант, близкий к ряду модернистских групп, автор кн. стихов «Птица-галка» (1916). Входил, как и Королевич, в объединение «Единорог» и был автором обл. к повести «Молитва телу». Погиб в ГУЛАГе.

С. 203. *Я умру одиноким. Понимаешь ли ты?!* – Эпиграф взят из стих. И. Северянина «Ты ко мне не вернешься» (1910).

С. 205. «*Не зажигай огня, не разжигай любви*» – Вероятно, вариация романса «Не зажигай огня! Во мгле душистой ночи...» на слова Д. М. Ратгауза (1868-1937).

С. 213. «*Принцессу Грезу*»... *принцем Рюделем* – «Принцесса Греза» (1895, ориг. назв. «*La Princesse Lointaine*») – драма в стихах французского поэта и драматурга Э. Ростана (1868-1918), в пер.

Т. Щепкиной-Куперник ставшая чрезвычайно популярной в России; герой Ростана, принц-трубадур Жофруа Рюдель, воплощает возвышенную любовь.

С. 214. *Дядя с отцом...* – Так у автора, хотя выше идет речь о дяде и «том офицере».

С. 215-216. *Herein... Bitte sehr... Bitte schlagen sie Bett auf... Ja-a... Gute Nacht... Du liebes Vayerland* – Войдите... Пожалуйста... Будьте добры, взгляните на постель... Да-а... Доброй ночи... Возлюбленное отечество (нем.).

Ярмарка поэзии

Впервые: *Южный край* (Харьков). 1918. 12 июля (н. ст.). Очерк был впервые опубликован Е. Толстой (Толстая Е. А. Н. Толстой на «Ярмарке поэзии» // *Солнечное сплетение* (Иерусалим). 2000. № 12-13; она же. «Деготь или мед»: Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель. М., 2006, с. 108-120, 618-625). Ниже в числе прочих мы приводим некоторые комментарии Е. Толстой, обозначенные литерами «Е. Т.».

С. 218. *...Вера Инбер* – Толстые обосновались на Малой Молчановке, д. 8, кв. 19 <...> Этот большой комфортабельный, тогда только что построенный дом в духе купеческого модерна со статуями львов и лепниной, где только можно, сохранился до сегодняшнего дня. В том же доме действительно жила Вера Инбер, которой Толстой покровительствовал (Е. Т.).

С. 218. *...«живые альманахи»* – Еще в феврале 1918 г. в журнале «Рампа и жизнь» были объявлены в соседнем Петровском театре (под управлением М. Н. Нининой-Петипа) «Живые альманахи» – симфонические концерты, вечера поэзии и музыки. Кафе было следующей стадией этого начинания. «Живые альманахи» после «Музыкальной табакерки» переехали в новое помещение – кафе «Десятая муза» на Камергерском. Постоянными их участниками были В. Брюсов, С. Ауслендер, Л. Столица, В. Королевич, В. Шершеневич, Н. Борская, Е. Сухачева, Б. Казароза, Подгорный, Коломбова и др. См.: *Жизнь* (Москва.), 1918. № 12.

10 мая (27 апр.), Ср. также статью С. Ауслендера «Вечер импровизации в “Живых альманахах”» (*Жизнь*. № 20). (Е. Т.).

С. 219. В «Музыкальной табакерке» – О «Музыкальной табакерке», история которой по живым следам описывается в очерке Королевича, вспоминал позднее В. Шершеневич в часто цитируемой главе «Два кафе», построенной на сопоставлении «Табакерки» с «Кафе поэтов». Автор специально оговаривает, что оба кафе были в руках футуристов (задним числом Шершеневичу важно легитимизировать имажинизм, указывая на его футуристическую генеалогию). В этом сравнении тон задает «Кафе поэтов», а «Табакерка» дается как сумма отличий от него. Шершеневич писал о первом «Кафе поэтов»:

«Одно на Тверской в Настасьинском переулке, в маленькой хибарке, было кафе жизни <...> Там собирались не только поэты. Туда приходили попавшие с фронта бойцы, комиссары, командармы. Там гремели Маяковский и Каменский. Там еще выступал не эмигрировавший Бурлюк <...> В этом кафе родилось молодое поколение поэтов, часто не умевших грамотно писать, но умевших грамотно читать и жить. Голос стал важнее биографии». (Шершеневич В. Г. «Великолепный очевидец» // *Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова*. М. 1990, С. 546).

По контрасту о «Музыкальной табакерке» с ее явно опальной репутацией Шершеневич пишет с предельной осторожностью, даже не называя свое кафе по имени. Апологию своего литературного детища – фразу о людях, действительно любящих поэзию – Шершеневич в повествование вплетает осторожно, в последнюю очередь.

«Другое кафе, на углу Петровки и Кузнецкого, было чисто коммерческим предприятием умных владельцев кафе, которые сохраняли под этой поэтической маркой свое помещение и множили доходы. Под эгидой поэтов жилось легче. Публика в этом кафе была “чистая” – остатки спекулянтов, купцов, “золотой молодежи” и люди, действительно любившие поэзию. Здесь скандалов с мордобитием и пальбы не было. Маяковский и Бурлюки здесь не выступали <...>» (там же и сл.). (Е. Т.).

Описание «Табакерки» оставил и С. Спасский:

«Круглая комната с плотно опущенными шторами наглухо отделена от улицы. На стенках лампочки с цветными шелковыми абажурами, полумрак, уютная тишина. Перед началом программы тихое позванивание пианино – “Музыкальная табакерка”

Лядова. Публика одета изысканно, все так, “будто ничего не случилось”. Певица исполняет “интимную” песенку об Арлекино, отравившемся на маскараде. Актриса рассказывает фельетоны Тэффи с дамскими довоенными остротами. «И остров мой опустится на дно, преобразясь в жемчужные сады», воркует маленькая, вернувшаяся из Парижа поэтесса. Напудренный поэт читает с кафедры в полумраке: «Поверх крахмальных белых лат он в сукна черные затянут. Его глаза за той следят, за той, которую обманут». Артист Раневский мелодекламирует о маркизах. Программы носят экзотические заглавия, увенчиваясь “вечерами эротики”. Кроме бесцеремонной московской публики, здесь появлялись петроградские акмеисты. Впервые в “кафейной” обстановке выступил здесь и Брюсов» (Спасский С. Маяковский и его спутники. Л., 1940. С. 131-132). «Маленькая поэтесса» – это В. Инбер, а в образе «напудренного поэта», не исключено, изображен В. Королевич, хотя приведенная и искаженная цитата – из К. Липскерова (1889-1954).

С. 219. ...*Ауслендера* – С. А. Ауслендер (1886-1937) – прозаик, драматург, театральный критик, племянник М. Кузмина. В 1918-1919 активно работал в колчаковской прессе (Омск); по возвращении в Москву писал в основном для детей и юношества. Был арестован и расстрелян в 1937 г.

С. 219. ...*Краснопольской* – Т. Г. Краснопольская – беллетристка, автор романов «Над любовью» (1914), «Завтра» (1915), «Ряженые» (1915), книги повестей и рассказов «Человек оттуда» (Б., 1922). Адресат нескольких стих. И. Северянина. В 1910-х гг. неоднократно обвинялась в плагиате.

С. 219. *Столицы* – Столица (Ершова) Любовь Никитична (1884–1934) – поэтесса, знаменитая в конце 1900 – начале 1910-х гг. своими стилизациями в духе русского язычества. Эмигрировала, умерла в Софии (Е. Т.).

С. 220. «*Брюсов, Брюсов!*» – Судя по всему, здесь описывается второй вечер поэтических импровизаций, ср.: «Недавно был я на настоящем поэтическом турнире – “вечере поэтических импровизаций” в “Живых Альманахах”. О первом таком вечере уже писал на страницах “Жизни” Ауслендер. Я был на втором, еще более интересном. На первом поэту разрешалось пользоваться карандашом и бумагой. На втором они должны были читать на

память. Выступали: Валерий Брюсов, Любовь Столица, Вадим Шершеневич, Лев Никулин, Наталия Поплавская, Рубанович. Темы, как и тогда, давались из публики: из трех, вытасканных из урны, поэт выбирал одну, а через несколько минут – читал стихотворение! Посмотрели бы пролетарские поэты, с каким блеском выходили из затруднения участники турнира! Валерий Брюсов, например, получил тему «memento mori». Он не стал даже пользоваться своим правом взять еще две записки и выбрать более подходящую тему. Он постоял минутки две, размахивая рукой в такт творимого стихотворения, и вот со сцены полились звуки сонета (сонета!):

Ища забав, быть может, сатана
Является порой у нас в столице,
Одет, как дэнди и цветок в петлице,
Рубин в булавке, грудь надушена ...».

(Каржанский Н. Поэты пролетарские и поэты непролетарские // Жизнь. 1918. 6 июня (24 мая). С. 4).

О гораздо менее невинном вечере «Живых альманахов», тоже еще в помещении «Музыкальной табакерки», вспоминал Вадим Шершеневич:

«Уже в годы революции Брюсов выступал в литературном кафе на углу Петровки и Кузнецкого. Кафе называлось “Живые альманахи”. Бумаги не было. Книги не выходили. Люди, чтобы не забыть азбуку, читали надписи на вывесках и ходили слушать живых поэтов. Один вечер “Живого альманаха” был посвящен оригинальным и переводным эротическим стихотворениям. Читали мы все сравнительно невинные вещи. На эстраду вышел Брюсов и начал читать переводы латинских поэтов. Атмосфера быстро накалялась. Сначала уткнулись носом в стаканы дамы, потом мужчины начали усиленно закуривать. Не смутился один Брюсов. Издатель альманахов, он же владелец кафе, подозревал меня и грозно спросил: – Он только читать будет или и наглядно показывать? Я успокоил встревожившегося коммерсанта, что Брюсов обойдется только читкой. Коммерсант требовал, чтобы я прекратил “похабщину”. Я указал, что Брюсов достаточно аккредитованный поэт. – Что мне до его кредитов, если мне комиссар кафе закроет! Брюсов кончил читать и совершенно наивно поглядел на зал, удивляясь, что не аплодируют» (Шершеневич В. Г. Там же. С. 459–460).

Другой отчет о том же вечере был процитирован в одесской газете Д. Тальниковым через год после описанных событий: это впечатления С. Яблоновского, опубликованные в газете «Свободная Россия»: «На красной афише (непременно красной!) объявлялся “Альманах эротики”. Один поэт читал те стихи Овидия, которые до сих не печатались “вследствие буржуазных предрассудков». Он, впрочем, объявил, что не будет называть вещей их настоящими именами, как это делает Овидий. Но публика оказалась настолько любящей Овидия и так дорожающей неприкосновенностью его творчества, что потребовала: — Называйте! Читать так читать! (Тальников Д. «Гаврилиада» А. С. Пушкина // Одесские новости. 1919 18 (5) янв.).

Влад Королевич и сам участвовал в «скандальном» вечере эротической поэзии» (видимо, том же самым) в кафе «Музыкальная табакерка» в апреле 1918 г. — об этом писали газеты. С другой стороны, известно, что Маяковский в своем выступлении на «Вечере эротики», устроенном в литературном кафе «Музыкальная табакерка», яростно напал на бесплодных эстетов — об этом пишет С. Спасский. Дату вечера — 2 апреля — установил Н. И. Харджиев по анонсу. (См.: Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. М., 1997. Т. 2. С. 200).

Ясно, что речь идет об одном и том же событии. В любом случае, «Табакерка» была закрыта, и скорее всего, именно после скандального «эротического» вечера. Тот же Спасский так характеризует поведение Маяковского на вечере эротики в «Музыкальной табакерке»: «Если в кафе публика подбиралась не враждебная и настойчиво требовала стихов Маяковского, он вставал и читал между столиков. Только на «вечере эротики» он разрешил себе подняться на кафедру. Он не слушал специально сервированной программы «от классиков до наших дней». Войдя с улицы, не снимая кепки, он занял место, вклинившись в номера, сообщил, что прочтет экспромт, заглянул в записную книжку, спокойно и неторопливо он обратился к тем, кто с вычурными жестами «тоненьких ручек» собрался сюда, чтобы славить наперебой

таинства соитий и случек,

голос его издевался, хотя Маяковский был совершенно невозмутим. И только к концу выступления он отчеканил несколько громче свое заключительное пожелание:

Ни любви не знать,
Ни потомства вам,
Импотенты и скотоложцы!»

(Спасский С. Маяковский и его спутники Л., 1940. С. 136-137). (Е. Т.).

В дополнение к комментарию Е. Толстой отметим, что выше Спасский также описывает «вечер импровизации» с участием Брюсова, указывая, что состоялся уже в кафе «Десятая муза»:

«В “Десятой музе” был устроен “вечер импровизации”. Затея, рассчитанная больше на производство курьезов, чем на получение толковых результатов. Публика заранее подшучивала над “импровизаторами”. В вазу на сцене опускались записки. В зале со столиками выключен свет.

Поэты действительно тонули на глазах. Вот поэтесса сбилась с размера и запнулась. Беспомощным жестом и обворожительной улыбкой пытается возместить она недостающие слогги. Поэт начинает развязно, но плетет распадающуюся на строчки бессмыслицу. Другой, обычно бойкий и едкий, после каждого слова застревает на мели. Из публики несутся остроты, мало способствующие творческому процессу.

Дело доходит до Брюсова. Он на сцене. Разворачивает записку. Тема — что-то вроде “любви и смерти” — слишком отвлеченна и обща. Брюсов подходит к рампе. Произносит первую фразу.

Медленно, строка за строкой, не запинаясь, не поправляясь на ходу, он работает. Тема ветвится и развивается. Строфа примыкает к строфе. Исторические образы, сравнения, обобщения, куски лирических размышлений. Вдобавок он импровизирует октавами, усложнив себе рифмовку и умышленно ограничив возможности композиции. Нельзя сказать, чтобы это давалось ему легко. “Вперед, мечта, мой верный вол”. Запавшие глаза сухи и сосредоточенны. Зал примолк, люди боятся двинуться, чтоб не нарушить напряженную собранность поэта. Брюсов продолжает. Удивление переходит в восхищение. И вот облегченный жест рукой.

— Я дал вам девять правильных октав,— бросает он гортанным, картавым голосом все закругляющие последние строки. Смолк. Резко дернулась голова. Мгновенная улыбка и обычная серьезность в ответ на бешеные аплодисменты.

Продемонстрировав высокую степень словесного мастерства, профессор искусств сходит с подмостков» (там же, с. 134-135).

С. 221. *Гольцшмидт, ломающий о свою голову доску... выкрашенный в коричневую краску «под негра», проповедует здесь «Радости тела»* – Речь идет о «футуристе жизни», поэте, атлете, киноактере В. Р. Гольцшмидте (1886? – 1954), авторе поэтической кн. «Послания Владимира жизни с пути к истине» (1919). Одним из его «коронных номеров» на выступлениях было разбивание о собственную голову толстых досок. Известны фотооткрытки с изображением Гольцшмидта, одетого лишь в набедренную повязку и выкрашенного в темную краску, в образе «туземца»; с лекцией «Солнечные радости тела» Гольцшмидт, проповедник йоги и здорового образа жизни, неоднократно выступал во время турне 1910-х гг. В указанных выше мемуарах Спасского Гольцшмидт изображен как аферист и спекулянт, тайком от остальных литераторов завладевший «Кафе поэтов» (Спасский С. Там же, с. 97, 109-111).

С. 221. *«Мне нравится беременный мужчина»* – Цит. из стих. Д.Бурлюка «Плодоносящие» (1915).

С. 221. *...Сарынь на кичку, Казань, Саратов...* – Искаж. цит. из «Стеньки Разина» (1916) В. Каменского.

С. 221. *...Хотите, буду безукоризненно нежным* – Искаж. цит. из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах» (1914-15, первое полное изд. 1918).

С. 222. *Ойру, давайте ойру* – Ойра (также ойра-ойра) – народный танец, в свое время распространенный в Восточной Европе.

С. 222. *Сердце! Экстренный выпуск. Свежее сердце! Новая страница русской поэзии* – Автоцитата из опубликованного в 1918 г. стих. «Свежее сердце»: «Кричите, как мальчик-газетчик: / “Сердце. Экстренный выпуск. Свежее сердце!”».

Автобиография

РГАЛИ, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 276, л. 3-4. Цит. по публикации на сайте kino-teatr.ru.

Оглавление

Смуглое сердце (1916)	5
Сады дофина (1918)	26
Стихотворения из «Альманаха муз» (1918)	57
Молитва телу (1918)	62
Студенты столицы	
Барышни из дома Субботиных	139
Ради жажды жить светлее	173
День студента Димочки	189
Конец весеннего дня	203
Приложение	
Автобиография	223
<i>Н. Андерсон</i> . Владимир (Влад) Королевич	225
К о м м е н т а р и и	233

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.